

РОССИЯ и США: познавая друг друга



**Сборник памяти академика
Александра Александровича Фурсенко**

Сборник статей

**Россия и США: познавая
друг друга. Сборник памяти
академика Александра
Александровича Фурсенко /
Russia and the United States:
perceiving each other. In Memory
of the Academician Alexander A.
Fursenko / Russia and the United
States: perceiving each other.
In Memory of the Academician
Alexander A. Fursenko**

«Нестор-История»
2015

УДК 796.52(076)
ББК 75.8

Сборник статей

Россия и США: познавая друг друга. Сборник памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko / Сборник статей — «Нестор-История», 2015

ISBN 978-5-4469-0546-1

Этот сборник статей и материалов посвящен памяти выдающегося российского историка Александра Александровича Фурсенко (1927–2008). Его тематика определяется основными научными направлениями, разработкой которых занимался он сам. Сборник открывается мемориальным разделом, в котором публикуется несколько очерков, посвященных различным эпизодам насыщенной событиями жизни А. А. Фурсенко. Основной объем сборника занимают три тематических раздела, в которых сгруппированы статьи российских американистов по различным проблемам истории США, статьи американских русистов по истории России и статьи по истории русско-американских отношений, написанные как отечественными, так и зарубежными историками. Большой интерес представляют также впервые публикуемые здесь документы, принадлежащие перу А. А. Фурсенко. Это и личные письма, повествующие об обстоятельствах, при которых он впервые оказался в частном архиве семейства Рокфеллеров, и официальный отчет о его пребывании в США двадцать лет спустя.

УДК 796.52(076)
ББК 75.8

ISBN 978-5-4469-0546-1

© Сборник статей, 2015

© Нестор-История, 2015

Содержание

Предисловие	9
Preface	10
In memoriam	12
С. И. Потолов. Как молоды мы были	12
И. П. Медведев. Вспоминая Александра Александровича	17
А. К. Гаврилов. Академик Александр Александрович Фурсенко и Классическая гимназия[17]	19
С. А. Исаев. Академик А. А. Фурсенко и Центр поиска и поддержки талантов «Интеллект» (1992–1996 гг.)	21
Р. Ш. Ганелин, Б. В. Ананьич. Один из лидеров американистов России об ее исторической судьбе после распада СССР	26
Blair A. Ruble. Recollections of Alexander Fursenko	33
История США: взгляд из России	36
Ю. Г. Акимов. Изоляционизм и интервенционизм колониального периода: отношения Новой Англии с французской Акадией в 30-е – первой половине 40-х гг. XVII в	36
С. А. Исаев. Ограничение срока действия законов временем жизни одного поколения в полемике Т. Джефферсона – Дж. Мэдисона. 1789–1790 гг	50
В. Н. Плешков. Американский Икар: Томас Этолин Селфридж	60
Н. А. Цветкова. Публичная дипломатия США: от холодной войны к новой холодной войне	66
История России: взгляд из Америки	78
Gerald Surh. Recent Studies of Antisemitism and anti-Jewish Violence in Eastern Europe, 1881–1914	78
Alfred J. Rieber. Social and Political Fragmentation in Imperial Russia on the Eve of the First World War[217]	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

**Россия и США: познавая друг
друга. Сборник памяти академика
Александра Александровича
Фурсенко / Russia and the United States:
perceiving each other. In Memory of the
Academician Alexander A. Fursenko**

Редакционная коллегия:

С. А. Исаев, В. В. Носков (отв. редактор), *Н. А. Павличенко* (отв. секретарь), *В. Н. Плешков, William G. Rosenberg* (American co-editor)

Рецензенты:

д. и. н. *Е. В. Петров*, д. и. н. *А. И. Рунасов*

© Коллектив авторов, 2015

© СПбИИ РАН, 2015

© Издательство «Нестор-История», 2015

* * *



А. А. Фурсенко. Нью-Йорк, 1981. Фото Джейн Ломбард

Предисловие

Этот сборник статей и материалов посвящен памяти выдающегося российского историка Александра Александровича Фурсенко. Его тематика определяется основными научными направлениями, разработкой которых занимался он сам. А. А. Фурсенко имеет репутацию одного из крупнейших отечественных американистов, что полностью соответствует действительности. Однако и историей собственной страны он занимался не меньше, чем историей США, и с неменьшим увлечением, особенно на начальной и завершающей стадиях своей научной карьеры. Помимо этого, труды А. А. Фурсенко внесли огромный вклад в историографию истории международных отношений нового и новейшего времени, и прежде всего истории русско/советско-американских отношений. Тематикой сборника определяется и состав авторского коллектива. Его основу составили коллеги и ученики А. А. Фурсенко, принимавшие участие в подготовке сборника статей, который был издан в его честь в 2000 г. Теперь состав авторов пополнился также представителями более молодого поколения историков, к которым переходит эстафета в изучении тех проблем, разработке которых посвятил свою жизнь А. А. Фурсенко. Как и пятнадцать лет назад, авторский коллектив имеет интернациональный характер, поскольку творческое наследие А. А. Фурсенко начиная с его первых крупных работ получило признание не только в отечественной, но и в мировой, и в первую очередь американской историографии.

Сборник открывается небольшим мемориальным разделом. Коллеги А. А. Фурсенко вспоминают здесь лишь о нескольких эпизодах его насыщенной событиями биографии. Но эти драгоценные крупинки памяти складываются в очень яркую и многоцветную картину жизни и деятельности их старого товарища, помогая понять и эпоху, в которой он жил, и личность этого неординарного человека. Основной объем сборника занимают три тематических раздела, в которых сгруппированы статьи российских американистов по различным проблемам истории США и статьи американских русистов по истории России. В третьем тематическом разделе собраны статьи по истории русско-американских отношений, написанные как отечественными, так и зарубежными историками. Особое место в сборнике занимает статья нашего американского коллеги, посвященная проблемам социальной памяти. Далекая, казалось бы, от основной проблематики этого коллективного труда, она оказывается неожиданно актуальной, поскольку сам сборник служит хорошей иллюстрацией важности поднятых в этой статье проблем. Подобные сборники, издающиеся в честь ушедших из жизни коллег, сами по себе являются средством сохранения и трансляции социальной памяти и обретают благодаря этому важное общественное значение. Большой интерес представляют также впервые публикуемые здесь документы, принадлежащие перу А. А. Фурсенко. Это и личные письма, повествующие об обстоятельствах, при которых он впервые оказался в частном архиве семейства Рокфеллеров, и официальный отчет о пребывании в США двадцать лет спустя. Разные по жанру, эти документальные свидетельства позволяют нам еще глубже погрузиться в ту атмосферу, в которой жил и трудился А. А. Фурсенко. В приложении публикуются фотографии из личных архивов Н. Л. Фурсенко и В. В. Носкова.

Предлагаемый вниманию читателей сборник служит еще одним свидетельством той благодарной памяти, которую оставил о себе великий труженик и яркий во всех отношениях человек, Александр Александрович Фурсенко.

Preface

Alexander Alexandrovich Fursenko was a greatly admired colleague of all the contributors to this volume and many, many more, both within Russia and abroad. His interests were wide ranging, his energy prodigious, and his commitment to historical scholarship and its importance to understanding the contemporary world was as passionate as it was productive. For many of us from the “far abroad” who came to know him well over the years, he also mirrored our own interests in linking our different scholarly communities in collaboration, mutual respect, and friendship. Always welcoming, but always also tough minded, A. A. left a lasting mark on the Institute of History in St. Petersburg as well as Russian and American historiography. By bringing his colleagues and friends together once again in his memory, this volume is a fitting reflection of the admiration and appreciation all of us felt for his generous investments in our intellectual and even personal well-being.

Those who are not familiar with American historiography may not know that A. A.’s own scholarship as a Russian Americanist was also greatly admired in that often less than generous scholarly environment. As I have detailed elsewhere,¹ the first major English language review of the work of Soviet Americanists in the *American Historical Review* described his early work as “superb”.² In part this was because like other leading representatives of the “St. Petersburg School”, Alexander Alexandrovich was devoted to archival work and documentary sources. His contributions consequently carried great weight, even as his approach often differed from that of historians of America within the United States.

A. A. was also an influential historian, however, because his scholarship increasingly touched on matters of seminal importance to American historical understanding. A review of his book on oil trust and international politics (*Нефтяные тресты и мировая политика, 1880-е годы–1918 г. М.—Л., 1965*) admired his scholarly independence and urged all American scholars interested in the subject to read this impressive and substantial book.³ This was also true of his later work on the American revolution (regarded by one distinguished American historian as “one of the best books” among the dozens published at the time of the revolutionary bicentennial⁴); the 19th century “oil wars”, translated by Gregory Freeze (received as a “tour de force”);⁵ and especially his masterful last major work on the Cuban missile crisis, published in English under the title “*One Hell of a Gamble*”: *Khrushchev, Castro, and Kennedy, 1958–1964*.⁶

Although co-authored with Timothy Naftali, who studied the crisis from the American side, the importance of this work came almost entirely from A. A.’s careful work on Khrushchev and the Soviet engagement, using previously unknown archival materials. Within a year of its publication, the book was recognized by its American readers as one of the most important volumes ever written in the extensive historiography of Cold War politics. Within a year it had received more than 30 reviews not only in scholarly journals, but also in mass circulation magazines and leading newspapers like *Business Week*, *Foreign Affairs*, *London Review of Books*, *New York Times*, *Philadelphia Inquirer*, *Washington Post*, *Wall Street Journal*, and *Los Angeles Times*. The

¹ Розенберг У. Г. А. А. Фурсенко и американская историография // Исторические записки. М., 2009. Вып. 12 (130). С. 11–24.

² *American Historical Review*, 74:4 (April 1969), 1239.

³ *American Historical Review*, 72:1 (October 1966), 129–30.

⁴ *Journal of American History*, 73:2 (September 1986), 465.

⁵ *American Historical Review*, 93:4 (October 1988), 1013.

⁶ The title was taken from President Kennedy’s famous retort to those advising him to use force to resolve the crisis.

. Сборник статей. «Россия и США: познавая друг друга. Сборник памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko»

prestigious *Wilson Quarterly* called it “a treasure trove of a book”⁷. The *New York Times* named it one of the country’s “notable books of the year for 1997”, an unusual recognition and honor.⁸

Why this was so tells us much about Alexander Alexandrovich’s qualities as a scholar. Before the publication of “*One Hell of a Gamble*”, American historians largely interpreted the Cuban missile crisis as the consequence of great power strategies, perceptions, ideologies, and collective leadership wills, well developed and collectively shared, and informed by extensive and reasonably reliable intelligence.⁹ A. A.’s careful archival work undermined most if not all of these explanations. By carefully mustering his evidence and presenting his arguments in clear unvarnished prose, he managed to persuade general American readers and scholars alike how perilous and unstable the crisis actually was, and how American historians themselves had misunderstood some fundamental elements of Soviet-American relations.

In contrast to a commonly held view, for example, one of A. A.’s most interesting discoveries was that the status of Berlin actually had little to do with the Soviet move on Cuba. Far from being a carefully thought out part of a collective Soviet leadership’s great power strategy, as most American scholars assumed, the decision to send the missiles to Cuba was a rather impetuous one made essentially by Khrushchev alone, with only the full confidence and support of Rodion Malinovskii, his aggressive Minister of Defense. A. A. not only showed that Soviet intelligence on Cuba was rather dismal, especially that coming from the KGB, but that American intelligence was not much better. As a result, there was a real possibility that a tactical conflict might have rapidly escalated into something far worse than either the American or Soviet leaders initially imagined, especially since the Soviet commander in Cuba may well have had far greater authority of the use of his weapons than Kennedy and his advisors suspected. In other words, A. A.’s research showed that the Cuban Missile Crisis was “one hell of a gamble” not as Kennedy used the phrase in responding to his advisers’ calls to invade Cuba and remove both Soviet presence and Castro regime by the strongest possible use of force, but in terms of the way the crisis itself spun out of control, leaving the world a hairsbreadth away from thermonuclear catastrophe.

Alexander Alexandrovich Fursenko is thus remembered by his many American colleagues as a Soviet-trained scholar whose work managed to show that however structural the underpinnings of historical development, whether understood in Marxist or other forms, there are critical moments in history when historical outcomes are largely if not totally contingent of the character of the personalities involved and the ways their wield their power. This is a sobering lesson indeed in today’s highly unstable world. And as the contributions to this volume also testify, he is also remembered with fondness and appreciation for all of his efforts to bring two formerly different scholarly worlds together in a single, cooperative, and respectful community. Here, too, perhaps, his success is also a sobering reminder as we memorialize him here of how important such efforts continue to be for us all.

William G. Rosenberg

⁷ *The Wilson Quarterly*, 21:3 (Summer 1997), 90. A distinguished scholar revising the book in the leading American journal on foreign policy regarded it as the “most comprehensive narrative of this perilous moment yet to appear in print”. *Foreign Affairs*, 70:4 (July/August 1997), 142.

⁸ *The New York Times*, December 7, 1997.

⁹ This view had been reinforced just as A. A. was completing his work in a new book by the leading American diplomatic historian John L. Gaddis, *We Now Know: Rethinking Cold War History* (Oxford, 1997).

In memoriam

С. И. Потолов. Как молоды мы были

Время неумолимо. Незаметно уходят годы и даже век – XX, а с ними и дорогие сердцу и уму друзья и коллеги, с которыми прожил и проработал отнюдь не простые и легкие, но, в общем, плодотворные периоды жизни. Вот и наступающий 2015 г. для меня особый. В январе 1955 г., 60 лет тому назад, я впервые ступил на ленинградскую землю, приехав для работы в знаменитом Центральном государственном историческом архиве (ЦГИАЛ) по своей дипломной теме о формировании промышленного пролетариата в Донбассе второй половины XIX в. И так прикипел всей душой к этому великому городу с его славной и трагической судьбой, что поломал свои первоначальные планы, отказавшись от зарезервированной персонально для меня аспирантуры в киевском академическом Институте истории Украины в пользу ленинградской, успешно сдав в начале июля, сразу после окончания истфака Одесского университета, аспирантские экзамены в Ленинградском педагогическом институте, носившем прежде имя М. Н. Покровского. Через два года его неоправданно слили с ЛГПИ им. А. И. Герцена, и я, таким образом, уже там закончил аспирантуру.

Тогда же мне необычайно повезло, о чем я вспоминал в сборнике, посвященном памяти моего научного руководителя профессора М. П. Вяткина, по приглашению которого я окончательно связал свою судьбу со ставшим мне родным и фактически единственным местом работы – Ленинградским отделением Института истории АН СССР (ЛОИИ), нынешним С.-Петербургским институтом истории РАН. А благодарная память снова и снова возвращает в те уже очень далекие 1950–1960-е гг., когда начиналась моя научная биография, становление как историка России XIX – начала XX в. В ЛОИИ я был зачислен старшим научно-техническим сотрудником 1 сентября 1958 г., и запись об этом в моей трудовой книжке осталась практически единственной (не считая 5 лет, 1967–1972, преподавательской работы по совместительству на кафедре истории СССР Герценовского института). Но связи с ЛОИИ у меня установились уже в аспирантские годы, когда я познакомился еще в Покровском институте с преподававшим там по совместительству Р. Ш. Ганелиным и аспирантами Б. В. Ананьичем и Т. М. Китаниной, не говоря уже о Михаиле Порфирьевиче Вяткине, который, заведя в ЛГПИ кафедрой истории СССР, в 1955 г. возглавил только что восстановленный после закрытия в начале 1953 г. ЛОИИ, старейший в стране и авторитетный в науке исследовательский исторический институт, куда раньше меня перешли работать вышеупомянутые мои друзья и коллеги. А я еще до работы в институте по предложению редколлегии подготовил одну из первых своих исследовательских статей о монополизации угольной промышленности Донбасса в конце XIX в. в 1-м томе Трудов ЛОИИ «Из истории империализма в России» (М.—Л., 1959).

Тематика указанного сборника отразила начало большой публикаторской и исследовательской работы, развернутой с конца 1950-х гг. в Отделении истории АН СССР в рамках Проблемного совета по истории Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. во главе с академиком И. И. Минцем вновь организованной секцией по изучению исторических предпосылок революционного процесса в России начала XX в., революций 1905–1907 и 1917 гг. Возглавил эту работу в Москве тогдашний директор Института истории профессор А. Л. Сидоров, а в ЛОИИ – М. П. Вяткин. Был составлен грандиозный план подготовки и публикации документальных сборников новых, выявленных архивных материалов по социально-экономической и политической истории России в XX в., в частности многотомной публикации материалов по истории революции 1905–1907 гг. – к ее 50-летию, и проведения

больших всесоюзных и региональных конференций по истории экономики и общественного движения (рабочего, крестьянского, либерально-демократического).

В эту работу и был с самого начала включен я, и для меня, как и других ее участников, это была замечательная школа, которая так пригодились в последующие годы. Трудность заключалась в том, что необходимо было привлечь к этой работе как опытных историков старшего поколения, многие из которых в той или иной мере пострадали от сталинских репрессий, так и способную творческую молодежь, новую ее генерацию. Сразу же после зачисления в штат ЛОИИ я как раз и был привлечен к начавшейся работе по подготовке сборника документов по истории монополизации нефтяной промышленности России. Одновременно готовились капитальные публикации и исследования по истории металлургической промышленности, аграрным проблемам.

Нефтяной промышленности не случайно отводилась особая роль, поскольку она в своем бурном развитии на рубеже XIX–XX вв. вывела Россию в число ведущих индустриальных стран мира. Во время работы над нефтяными сборниками и произошло мое знакомство с Александром Александровичем Фурсенко, товарищеские и деловые отношения с которым сохранились в последующие годы, как и благодарная о нем память. Александр Александрович к моменту нашего знакомства был уже, несмотря на свою молодость (31 год), вполне сложившимся ученым, успешно защитившим кандидатскую диссертацию и опубликовавшим на ее основе свою первую книгу (Борьба за раздел Китая и американская доктрина «открытых дверей». 1895–1900. М.—Л., 1956). В этом ему очень помогла жизненная и научная школа его университетских учителей – профессоров Н. П. Полетики и Б. А. Романова.

Нефтяной сборник готовился совместно с головным московским Институтом истории, который представлял ответственный редактор – опытный историк и обаятельный человек Михаил Яковлевич Гефтер, впоследствии видный общественный деятель и правозащитник. Ученик А. Л. Сидорова, он в 1953 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по истории монополий в топливной промышленности России. А. А. Фурсенко стал его заместителем, а архивной работой и археографической обработкой выявленных документов руководил Леонид Ефимович Шепелев, бывший в то время заместителем директора Центрального государственного исторического архива в Ленинграде. После предварительных обсуждений плана работы наступил самый ответственный этап – выявление документов. Стало ясно, что кроме основного массива документов в ЦГИАЛ и московских архивах необходимо было выявить материалы в местных архивохранилищах и библиотеках, главным образом в основных районах дореволюционной нефтедобычи на Кавказе: Бакинском и Грозненском.

И вот уже через месяц после моего прихода в ЛОИИ мы вместе с Александром Александровичем вылетели в Баку. Дорога неожиданно оказалась непростой. Наш самолет совершил по дороге кратковременную посадку в Москве. Дело было вечером, погода была, что называется, нелетной, густой туман, да и на Кавказе – сильные ветра. Короче говоря, нам, пассажирам, объявили, что вылет откладывается до 8 часов следующего утра. Ночью мы должны были без вещей покинуть самолет и ожидать утренней посадки. Мы с А. А. обсудили неожиданную ситуацию и решили отправиться на ночевку к московским родственникам. Договорились встретиться в 7 часов в аэропортовском кафе. Так и поступили. Встретившись утром и выпив по чашечке кофе, мы прошли к дежурной стойке узнать, объявлена ли наша посадка. Дежурная, заглянув в свои бумажки, совершенно спокойно сообщила, что наш самолет уже улетел. Можно себе представить нашу реакцию и возмущение: до 8 часов оставался еще час времени. Растерявшаяся дежурная стала звонить по начальству, и там ей ответили, что самолет еще на взлетной полосе. Александр Александрович взял трубку и на повышенных тонах объяснил нелепость ситуации. Последовала команда задержать вылет нашего самолета. Нас посадили в дежурную машину, и мы помчались к нашему злополучному самолету. Трапа, конечно, уже не было. Нам сбросили веревочную лестницу, по ней

мы вскарабкались в пилотскую кабину и оттуда уже перешли в основной салон, сопровождаемые недовольными взглядами остальных пассажиров и крепкими выражениями в наш адрес.

К счастью, это оказалось единственной трудностью в нашей дальнейшей работе. Приняли нас в Баку очень сердечно, переговоры в архивном управлении, возглавляемом опытным архивистом М. И. Найделем, привели к полной договоренности о работе над архивными фондами крупнейших нефтяных фирм и организаций (съездами бакинских нефтепромышленников и др.), местной периодикой. Всю эту работу возглавил молодой и амбициозный (в хорошем смысле) историк, специалист по истории рабочего класса Алиовсат Наджафович Гулиев, который еще недавно (май 1952 – январь 1958) возглавлял Институт истории Азербайджанской АН. Ему помогал опытный историк Иосиф Васильевич Стригунов. Нас же все эти дни в Баку опекал прикрепленный к нам молодой симпатичный историк Руфат Садых-Заде, происходивший из интеллигентной профессорской семьи, с которым и в дальнейшем у нас сохранились теплые дружеские отношения.

Мы сразу договорились, что кроме непосредственно нефтепромышленных проблем в сборнике будет представлен и материал по рабочему движению, который должен был отобрать и откомментировать сам Гулиев. Его хотелось бы помянуть добрым словом. Гулиев происходил из простой крестьянской семьи и когда приехал на учебу в Баку, даже не владел русским языком. Но упорный труд, особенно при подготовке 3-томной «Истории Азербайджана», когда он был во главе академического Института истории, превратил его в крупного ученого. Снова возглавив в 1965 г. Институт истории, он был избран членом-корреспондентом Академии наук АзССР. К сожалению, он умер от тяжелой болезни сердца в 1969 г. совсем молодым, в 47 лет. А мы с Александром Александровичем его очень ждали во главе азербайджанской делегации историков на Пятый Международном конгрессе по экономической истории 1970 г. в Ленинграде, но... увы!..

О Гулиеве и его большой семье, очаровательных малолетних детях (бережно храню свои многочисленные любительские их фотографии) у меня сохраняются самые теплые воспоминания, относящиеся к моему второму приезду в Баку летом 1959 г. для работы над выявленными материалами, когда я месяц провел у Гулиева на его даче в повседневном общении с его дружной, хотя и простой семьей (по происхождению – из его родного села Гызылаладжи Сальянского района Азербайджана).

За кратковременное пребывание в 1958 г. в Баку нам с помощью Руфата удалось познакомиться с городом, прекрасным в своем сочетании старых кварталов с узкими улочками, древней архитектурой и современными постройками, особенно вдоль морской бухты. Свободного времени было немного, но мы старались его использовать по максимуму. Вспоминаются забавные бытовые сценки. В Баку нас вначале поселили в большом гостиничном номере, где кроме нас было еще несколько человек. И среди них веселый балагур Гриша, кинооператор у мэтра грузинского кино М. Э. Чиаурели, создателя многих фильмов об И. В. Сталине и мужа великой грузинской актрисы Верико Анджапаридзе, отца не менее известной их дочери Софики Чиаурели. От Гриши мы слышали много анекдотических историй, в том числе весьма скабрёзных, из мира грузинского кино.

В те времена трудного повседневного быта нас на питание прикрепили к местной цеховской столовой с хорошим буфетом, расположенной недалеко от республиканского архива. А Александр Александрович во все времена, как известно, был любителем хорошо поесть. Мало того, по состоянию здоровья ему было рекомендовано дробное и частое «перекусывание». И там он активно пользовался упомянутым буфетом, где можно было съесть вкусную сметану с выпечными булочками. Одному ему было скучно это делать, и он захватывал с собой за компанию меня. Александру Александровичу это обходилось вполне безболезненно, он, как и был, оставался подтянутым, а я от этого хождения прибавил к концу

нашего пребывания в Баку лишних 5 килограммов веса, о чем он впоследствии частенько вспоминал, потешаясь надо мной. Вместе с А. А. мы побывали дома у моих бакинских родственников, родителей жены моего московского двоюродного брата, у которого как раз в это время гостил их внук, мой племянник Володя Львовский. Глава семьи, известный ученый, специалист по античной истории, сотрудник того же Института истории, интеллигентнейший и очень приятный человек, рассказал много интересного о местных древностях.

Время пролетело быстро, мы ознакомились со всеми имеющимися в архиве материалами для сборника, договорились о дальнейшей работе и распрощались с гостеприимным Баку и его обитателями. Во время второй части командировки мы с Александром Александровичем разделились: он уехал на неделю в Тбилиси знакомиться с тамошними архивами по нашей теме, учитывая, что дореволюционный Тифлис был центром наместничества России на Кавказе и там тоже хранились управленческие документы по нефтяной промышленности. Я же отправился в Грозный, другой центр российской нефтянки. Память сохранила его прежний облик уютного зеленого города, дореволюционного казачьего форпоста. Открытие поблизости нефтяных месторождений преобразило его, превратив в значительный промысловый центр. В местном архиве сохранились документы, раскрывающие начало здесь нефтедобычи, роль иностранного капитала, деятельность крупных фирм. В работе мне помогали преподаватели местного пединститута (сейчас – университета) Л. Н. Колосов и В. П. Крикунов, с которыми на долгое время сохранились дружеские отношения. Леонид Николаевич Колосов позднее защитил у нас в ЛОИИ докторскую диссертацию. Выявленные документы, которых было, естественно, гораздо меньше, чем в Баку, были в дальнейшем скопированы и использованы в нашем сборнике и других публикациях. Сейчас они хранятся в РГИА, составляя небольшую, уцелевшую таким образом часть от грозненского архива, погибшего в годы трагической чеченской войны в 1990-е гг. Часть этих документов была использована в моей большой статье в 4-м томе Трудов ЛОИИ (М.—Л., 1962) «Начало монополизации грозненской нефтяной промышленности (1893–1903 гг.)». Один из оттисков статьи я среди других подарил Виктору Ивановичу Рутенбургу, с которым у нас сложились добрые, уважительные отношения. Она ему понравилась и по содержанию, и по авторской манере. «Лихо написано», – сказал он мне при встрече.

Последующие 1959 и 1960 гг. ушли на подготовку нашего сборника. Огромная работа велась в ЦГИА. Там, в читальном зале старого здания Сената и Синода на Сенатской площади (тогда еще Декабристов), под руководством Л. Е. Шепелева работала бригада сотрудников ЛОИИ: мы с Александром Александровичем, Валерия Антониновна Нардова, Шурочка Титова, с трудом передвигавшаяся на костылях, Геннадий Леонтьевич Соболев (который вспоминал недавно об этих наших нефтяных бдениях во втором – 2007 г. – издании сборника памяти М. П. Вяткина). От Москвы в составительской работе участвовала Аида Михайловна Соловьева, которая готовила документы о нефтеносных землях и государственной политике в этом вопросе. Работа велась не только с документами, мы занимались также их археографической обработкой и составлением комментариев. Меня, готовившего основные разделы о крупнейших монополистических объединениях и их политике на нефтяном рынке внутри России и за рубежом, иногда поругивали за слишком подробные тексты, но я не жалею потраченного на их составление труда.

М. Я. Гефтер по состоянию здоровья не мог часто бывать у нас в Питере, поэтому мы с А. А. неоднократно ездили в Москву, согласовывали с ним подготовленные разделы. Я в связи с этим несколько раз бывал у него дома, о чем мы недавно вспоминали с его сыном Валентином Михайловичем, приславшим мне изданный им с Г. О. Павловским (кстати, тоже выпускником истфака Одесского университета, правда, более поздних лет) очень ценный 3-томник материалов, который включал воспоминания и документальные фотографии Михаила Яковлевича. В 1959 г. я участвовал также в большой конференции по истории рабо-

чего класса России, организованной сидоровской секцией Научного совета по истории революции 1917 г., где близко познакомился и подружился со многими своими московскими коллегами, ставшими на всю жизнь друзьями и соратниками в общих делах: Леонидом Михайловичем Ивановым, Юрием Ильичем Кирьяновым, Ириной Михайловной Пушкаревой, Натальей Анатольевной Ивановой, Константином Николаевичем Тарновским и многими другими.

В конце концов, работа над нефтяным сборником подошла к концу, и в 1961 г. из печати вышел увесистый (70 п. л.), большого формата том документов и материалов: «Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1883–1914 гг.». За ним вскоре последовало продолжение за 1914–1917 гг., но в этом издании я уже не участвовал, вернувшись к своим «рабочим» делам и подготовив большую книгу «Рабочие Донбасса в XIX веке» (М.—Л., 1963), которую в январе 1964 г. защитил как кандидатскую диссертацию. Для меня это была родная, я бы сказал, семейная тема. В шахтах Донбасса начинали трудовой путь мой дед Кузьма Терентьевич Потолов и отец, работавший горным инженером в Макеевке после окончания Одесского политехнического института в 1920-е гг. и в последние годы жизни (1956–1960). Можно представить, как больно мне слышать и видеть сегодня новую (после Великой Отечественной) войну, ее звериный оскал, разруху и многочисленные человеческие жертвы в тех городах, где я работал в архивах в 1956–1957 г.: Днепропетровске, Луганске (тогда Ворошиловограде), Донецке, Харькове.

Александр Александрович продолжил в дальнейшем нефтяную тематику, став крупнейшим и авторитетнейшим экспертом по международному нефтяному бизнесу, банковским и иностранным капиталам, автором и составителем нескольких книг и документальных публикаций. Подаренные им книги по этой тематике стоят на почетном месте в моей библиотеке. И для В. А. Нардовой ее нефтяные занятия, проблемы транспортировки и рынков нефтепродуктов в России стали темой кандидатской диссертации и изданных на ее основе монографии и статей. В нашем институте было подготовлено кроме нефтяных сборников также несколько томов других публикаций, в том числе о монополиях в металлургической промышленности, Особых совещаниях периода Первой мировой войны, банках и иностранном капитале в России, политике царского правительства. Определенным итогом этой работы была организованная в 1963 г. в Ленинграде всесоюзная конференция по социально-экономическим проблемам России конца XIX – начала XX в., стимулировавшая дальнейшее развертывание исследовательской и публикаторской работы по этим сюжетам. В этом огромная заслуга тех, кто начинал и в дальнейшем развивал эту тематику.

И здесь особая роль принадлежит, конечно, Александру Александровичу Фурсенко. Кроме публикации индивидуальных исследований мирового класса он сыграл огромную роль как руководитель (с середины 1990-х гг.) российской исторической науки, организатор крупных международных проектов, конгрессов и конференций, закрепив высокий мировой статус отечественной историографии. Что касается нашего института, большое значение имела его активная поддержка таких важных мероприятий, как 5-й Конгресс по экономической истории (Ленинград, 1970 г.), международные colloquia и симпозиумы по кардинальным проблемам отечественной и мировой истории. Продолжение всех этих работ и проектов – лучшая дань памяти видного ученого и организатора науки, каким, несомненно, был академик Александр Александрович Фурсенко.

И. П. Медведев. Вспоминая Александра Александровича

Бок о бок с Александром Александровичем Фурсенко мне довелось трудиться многие годы и даже десятилетия в рамках отдела всеобщей истории нашего института. Скажу прямо: это было весьма непростое «сосуществование-сотрудничество». Казалось бы, что общего могло быть у византиниста и американиста! Очень уж разные ипостаси в профессиональном отношении: какая-то там Византия с точки зрения американиста, не скрывавшего своего некоторого равнодушия к такой «экзотической специальности», как византиноведение; эти пресловутые Соединенные Штаты, страна с историей «в двух измерениях» – с моей точки зрения. А я это эйзенштейновское определение даже как-то высказал Александру Александровичу, спросив его, полушутя-полусерьезно, не жалко ли ему «гробить» свою жизнь на изучение «этой страны», и получив соответствующую «оплеуху» за дерзость. «Заниматься Соединенными Штатами – это вам не Византией заниматься», – сказал А. А. в ответ на мое критическое замечание по поводу его доклада на одном из заседаний отдела. «Правильно, Александр Александрович, – ничтоже сумняшеся парировал я, – полностью с вами согласен: заниматься Византией – это вам не Соединенными Штатами заниматься» (у меня еще и сейчас в ушах звучит смех участников заседания). И таких «пикировок» с обеих сторон было сколько угодно.

И тем не менее, как это ни странно, в чисто человеческом плане налицо было наше взаимное уважение друг друга. Я, конечно, вполне отдавал себе отчет в значимости Александра Александровича как выдающегося ученого, как яркой и весьма амбициозной и в профессиональном, и в карьерном отношении личности; в конце концов, как весьма влиятельного человека, сделавшего много полезного для отечественной исторической (прежде всего академической) науки вообще и для нашего исторического института в частности. Ощущал пристальное внимание Александра Александровича к собственной персоне и я. Иногда же это «внимание» превращалось в конкретные «акты помощи» в трудных для меня жизненных обстоятельствах, за что я всегда буду признателен Александру Александровичу. По мере своих скромных возможностей я также старался быть полезным ему. Например, когда мы в 1970 г. вместе трудились над подготовкой и проведением в Таврическом дворце Ленинграда Международного конгресса по экономической истории (А. А. был генеральным секретарем оргкомитета конгресса, а я его заместителем). Больше года мне понадобилось тогда на это занятие, о византиноведении практически пришлось забыть, и мне дорого слова Александра Александровича, начертанные собственноручно на подаренном мне экземпляре его монографии «Критическое десятилетие Америки»: «Дорогому Игорю Павловичу в знак дружеской симпатии и на память о наших совместных деяниях на Конгрессе экономической истории. 3/IX-74. А. Фурсенко».

Да, приходится еще раз с горечью констатировать: «Голоса друзей все тише и тише, годы не ждут». Мне особенно жаль, что не могу уже обратиться к Александру Александровичу за советом. А ведь он мне был бы весьма полезен именно сейчас, когда (неожиданно для меня самого) «американская тема» вдруг всплыла в моей профессиональной деятельности. Дело в том, что в последнее время мне приходится вплотную заниматься подготовкой к изданию неопубликованной переписки государственного канцлера графа Н. П. Румянцева (1754–1826), «американская тема» в судьбе которого, как оказывается, весьма ощутима.¹⁰ Для меня было как гром среди ясного неба узнать, что мой «герой» был ярко выраженным

¹⁰ Первый том этого труда («Граф Румянцев и мир науки. По материалам неопубликованной переписки») уже находится в печати.

«американофилом», который во время беседы с первым посланником США в России Джоном Куинси Адамсом (19/I–1/II 1814 г.) заявил буквально следующее: «Мое сердце принадлежит Америке и, если бы не мой возраст и болезни, я непременно бы уехал в эту страну».¹¹

Ничего себе?! Правда, в качестве одной из причин подобного умонастроения канцлера тот же Адамс приводит в своем дневнике слова Румянцева о том, что император вовсе перестал с ним общаться и что он (Румянцев) просил Александра I об отставке, а также что «против него действует мощное и неумолимое влияние Англии (мы бы сказали сейчас – лобби. – И. М.), как политическое, так и торговое, усугубляемое справедливым мнением, что он (Румянцев) является стойким и умелым противником морской тирании Англии». Адамс считал, что Румянцев натолкнется на злобную неприязнь и вражду, если захочет поселиться где-либо в Европе, и «лишь в Америке он мог бы надеяться найти убежище от преследований, которые будут наградой за его добродетели и службу своей стране».¹²

Всем известно соучастие Н. П. Румянцева в организации «Российско-американской компании», акционером которой (наряду, кстати, с императором Александром I) он стал в 1802 г.¹³ и целью которой было освоение Северо-Западной Америки и островов в северной части Тихого океана (думаю, что всем сразу же приходит на ум мюзикл «Юнона и Авось», где фигурирует и канцлер Румянцев). И (раз уж я коснулся этого вопроса) приведу хотя бы один пример из переписки Н. П. Румянцева с его главным доверенным лицом по связям с миром науки академиком Ф. И. Кругом – пример, свидетельствующий о том, что и в самом конце своей жизни Румянцев продолжал следить за деятельностью компании. Так, в письме из Гомеля от 6 ноября 1822 г. он сообщает Кругу о том, что узнал из газет о прибытии в Петербург И. Ф. Крузенштерна (знаменитого мореплавателя, в судьбе которого Н. П. Румянцев также играл немалую роль¹⁴), в связи с чем просит передать тому, чтобы он «постарался добиться от Крамера,¹⁵ а через него – от двух других директоров Американской компании, разрешить ему сделать краткое изложение всех переданных мне ими известий, которые эта Компания позволяет мне использовать для осуществления открытий вдоль побережья Северо-Западной Америки, и чтобы он опубликовал свое краткое изложение в каком-нибудь русском журнале, вставив в него слово искренней благодарности ученых в адрес Компании за благородное содействие, оказанное мне для обеспечения успеха моего начинания. Г-н Крузенштерн может обратиться к Крамеру с подобными ходатайствами от моего имени, а после того, как краткое изложение появится на русском языке, он соблаговолит распорядиться перевести его на французский и сразу же переправить от моего имени президенту Географического общества в Париже и г-ну Бароу в Лондоне. Г-н Крузенштерн даст мне возможность испытать удовлетворение, если ему удастся оказать мне эту услугу».¹⁶

Думаю, что Александр Александрович наверняка заинтересовался бы этим вопросом, а то и просто бы заставил заняться его изучением и изложением автора этих строк.

¹¹ Россия и США: становление отношений (1765–1815). М., 1980. С. 638. (Благодарю С. А. Исаева за подсказку.)

¹² Там же. См. также: Плешков В. Н. Российская наука и промышленность в «Дневниках» Джона Квинси Адамса. 1809–1814 // Русская наука в биографических очерках / Под ред. И. П. Медведева и Э. И. Колчинского. СПб., 2003. С. 325–340; Его же. Дж. К. Адамс в Петербурге // История Петербурга. 2005. № 6 (28). С. 55–59; Его же. Петербург в жизни и карьере Джона Квинси Адамса // Санкт-Петербург – Соединенные Штаты Америки. 200 лет российско-американских дипломатических отношений. СПб., 2009. С. 36–45. (Прим. ред.)

¹³ См.: Словарь американской истории с колониальных времен до Первой мировой войны / Под ред. А. А. Фурсенко. СПб., 1997. С. 516.

¹⁴ См. об этом: Медведев И. П. «Живой человек, а не памятник»: Несколько малоизвестных штрихов к биографии И. Ф. Крузенштерна // Петербургский исторический журнал. 2014. № 3. С. 18–23.

¹⁵ Имеется в виду Венедикт Венедиктович Крамер, один из директоров Главного правления РАК с 1807 по 1823 г.

¹⁶ ПФА РАН. Ф. 88. Оп. 2. Д. 115. Л. 145 (Оригинал – на французском языке).

А. К. Гаврилов. Академик Александр Александрович Фурсенко и Классическая гимназия¹⁷

29 июня 2008 г., среди такой же, как всегда, напряженной деятельности во время очередной поездки в Москву на заседание Президиума РАН, ушел из жизни один из влиятельнейших друзей Санкт-Петербургской классической гимназии, председатель ее попечительского совета, историк-новист академик Александр Александрович Фурсенко (1927–2008). Не школьному журналу обсуждать его научные достижения, принадлежность к различным ученым обществам и в различных отношениях примечательную судьбу. Зато 610-я школа, она же – Первая классическая гимназия, может и должна помнить то, что сделано для нее Александром Александровичем в трудные годы ее становления и борьбы за место под солнцем.

После основания первых классов будущей классической гимназии в 1989 г. при знаменитой в Ленинграде 30-й математической школе и оставлении этой школы год спустя новому образованию пришлось испытать мытарства неприкаянного жителя при других школьных организациях. Правда, весной 1990 г. при поддержке А. А. Фурсенко, в то время бывшего заместителем председателя Президиума Ленинградского научного центра АН СССР, классам удалось получить собственный школьный номер и замечательное здание в Ковенском переулке, которое, однако, не могло устроить растущую школу, и она переместилась в помещение РОНО на Большом проспекте Петроградской стороны. В ту пору случалось, что иным родителям-активистам приходилось с утра браться за заточку, чтобы открыть комнаты для учащихся и учащихся (математик и родитель с заточкой, С. В. Бурячко, в те же судьбоносные месяцы стал – и до сих пор остается – директором Первой классической гимназии). С каждым днем становилось яснее, что без *своего* дома новой школе не выжить.

Над институционализацией школы потрудились многие члены преподавательского коллектива и друзья гимназии во главе с ее организаторами – историком Петербурга Л. Я. Лурье и историком античной науки Л. Я. Жмудем. При идейном участии А. И. Зайцева они воплотили в жизнь филологический проект, возвестителем которого в течение долгих советских десятилетий был Я. М. Боровский. Это были и античница Л. Ю. Меньшикова, и ее прежний коллега М. И. Башмаков из Комиссии Ленсовета по науке и образованию; родители двух тогдашних гимназистов: уже названный С. В. Бурячко и Н. Л. Корсакова. Нельзя не назвать здесь же увлеченных педагогикой лингвистов А. Ю. и М. В. Русаковых, к которым Александр Александрович был очень благорасположен. В городских властных структурах того оживленного времени энтузиастам помогли бывший тогда председателем Комиссии по культуре Петроградского райсовета, ныне директор Санкт-Петербургского института истории РАН Н. Н. Смирнов и его заместитель Е. Е. Молчанова, которые решили, что славный педагогическими традициями с начала XX в. район должен поддержать акт консервативного новаторства. Они обратились с этим к известному археологу и историку археологии Г. С. Лебедеву, входившему в аналогичную городскую комиссию, и нашли у него энергичную поддержку.

В итоге 19 января 1991 г. был достигнут успех: председатель Ленсовета А. А. Собчак, расположенный к идее новой школы, согласился на выделение новому учебному заведению здания на углу Малого проспекта (тогда еще проспект Щорса) и улицы Красного Курсанта. Одновременно было принято решение поддержать вальдорфскую школу, которая вскоре выехала из этого здания. Впрочем, событие, вытекающее из этих согласований, опять

¹⁷ Статья, заново отредактированная для этого сборника, впервые была опубликована в «Журнале друзей Санкт-Петербургской классической гимназии»: Абарис. № 9. 2008. С. 60 (с портретом А. А. Фурсенко)).

откладывалось — школа всё не получала ключей от своего здания. Летом 1991 г. А. Ю. Русяков и С. В. Бурячко опять пришли к Александру Александровичу за помощью, и он бросил на весы живой истории свой академический авторитет и обратился непосредственно к А. А. Собчаку с этим делом, ожидающим уже не решений на бумаге, а прямого действия. Вот каким образом к началу нового учебного 1991 г., через несколько дней после августовского путча, гимназия получила возможность отпраздновать новоселье. Как видим, в этом деле было много заинтересованных и упорных участников, но успех мог и не прийти без авторитета Академии наук и Александра Александровича, который не преминул поддержать людей культуры в их спасительно-смелом предприятии.

Событие это было отрадно и, как теперь понимают многие, весьма значительно, однако даже тогдашние участники вряд ли ожидали, что сторонние люди признают за открытием новой школы чуть ли не всемирно-историческое значение. Между тем не только «*Frankfurter Allgemeine Zeitung*», но и «*New York Times*» (номер от 2 сентября 1991 г.) не преминули отразить факт обретения возобновленной, теперь уже петербургской, гимназией собственного «угла» в статьях, помещенных на видном месте. Более того, обе статьи были снабжены крупной фотографией гимназического Триумфа по поводу начала нового учебного года в собственном здании! Считать ли это причудой журналистики? Или примером того, как действуют личные связи? Как бы там ни было, здесь определенно сказался взгляд на солидное образование как на залог цивилизационного развития и культурного успеха.

Давно замечено, что почти все, кто долго и увлеченно исследует какую-нибудь страну или эпоху, вольно и невольно заражаются их ценностями, а иногда и пристрастиями. Вспоминая Александра Александровича, его коллеги по отделу всеобщей истории отмечали, что в этом крупном американисте нередко проступали черты американского характера — потребность в личной свободе, уважение к предприимчивости, напор в действии, наивная и святая вера в победу лучшего. Человек начальственный и некоторым образом государственный, Александр Александрович не только сочувствовал появлению гимназии, но и позже не раз выступал на ее защиту. 21 июня 1995 г. он вместе с мэром А. А. Собчаком вручал во дворе гимназии аттестаты первым выпускникам, а впоследствии приходил на заседания гимназического фонда или на дискуссии по вопросам классического образования. О тех, кто от Античного кабинета, действующего при гимназии и опирающегося на ее выпускников, сумел справиться со старой академической задачей — изданием Альбома по северно-причерноморской эпиграфике (*CIRB—Album*, 2004 г.), Александр Александрович сложил такое слово: «Эти молодые люди способны вдохнуть жизнь в камни».

Классическую гимназию устроители понимали как соединение математики с историей и пристальное изучение иностранных языков, включая древние, которые позволяют заглянуть в иную цивилизацию, чтобы более емко и критично воспринимать свою. Александр Александрович трезво понимал, что дело в способности к движению, а не в мечтаниях о прорыве; что сила в новизне, а не в речах про инновации; в личных способностях и энергии, а не в знаках управляемости. В расположении Александра Александровича к классической школе сказалось его уважение к традиции, к тому, что проверено веками. Шло это и от семьи, из которой он происходил: отец его был крупный ученый, палеонтолог и геолог, в свое время окончивший славную в анналах педагогического Петербурга гимназию Карла Мая. В поддержке школы, которая отвечала бы образовательным потребностям обновленной России, пожалуй, больше, чем где-нибудь, обнаружилась главная доблесть Александра Александровича: бережное отношение к культуре и деятельный оптимизм — установка столь же умная, сколь и благородная, ибо готова защищать хрупкое и ценное.

С. А. Исаев. Академик А. А. Фурсенко и Центр поиска и поддержки талантов «Интеллект» (1992–1996 гг.)

Александр Александрович Фурсенко постоянно думал о будущем российской науки и бизнеса. Подготовка кадров – молодого пополнения научной и бизнес-элиты – всегда была в поле его внимания. Санкт-Петербургская классическая гимназия – наиболее успешный и зримый результат этой его заботы. Но были и другие, менее успешные. Об одном из таких начинаний я хочу поделиться личными воспоминаниями.¹⁸ Весной 1992 г. Александр Александрович предложил мне поработать с одаренными школьниками в какой-то вновь создаваемой структуре и я согласился. Проект этот «продержался» четыре года, и на протяжении трех лет я в нем более или менее активно работал и наблюдал изнутри то, что происходило в нем и с ним.

В полдень 15 июня 1992 г. у входа в здание восточного и филологического факультетов Санкт-Петербургского университета я впервые встретился и познакомился с инициаторами создания Центра: супругами Тарантовыми – Любовью Борисовной и Юрием Анатольевичем.¹⁹ В ходе долгой беседы под деревьями уже на внутренней территории университета (куда сейчас посторонних не пускают) они объяснили мне свой замысел. Александр Александрович позже добавил к этому объяснению важные штрихи.

Проблема, которую призван был решить Центр, выглядела следующим образом. Среди оканчивающих школу было немало талантливых ребят, происходивших из семей небогатых: научных сотрудников, учителей, врачей, инженеров. А в вузах процветал блат. Им было сложно туда пробиться. Тогда как лучшие специалисты в вузах были заинтересованы, естественно, в одаренных студентах. Центр поиска и поддержки талантов «Интеллект» брал на себя функции посредника между выпускниками школ (и их родителями), с одной стороны, и людьми науки – с другой, с тем чтобы и вузу помочь обрести своего абитуриента, и выпускнику школы помочь попасть именно в самый для него подходящий вуз.

Алгоритм решения проблемы был предложен следующий. По каналам социальной рекламы родителям детей, поступавших в 1992 г. в 11-е классы школ Санкт-Петербурга, предлагали приводить их на бесплатное тестирование. Те, кто показывал высокий результат, затем приглашались на бесплатные занятия по выбранной ими специальности с преподавателями университета и сотрудниками различных институтов Академии наук. Кроме лекций планировались семинары с ученическими докладами, конференции, а также зимняя и летняя школы на базе университетского городка в Петергофе. В процессе такого общения преподаватели должны были присмотреться к своим воспитанникам и тем, на кого «положат глаз», облегчить процесс поступления (между собой мы это называли «белый блат»). Финансировали всё это совместно университет, газета «Невское время» и спонсоры из числа бизнесменов.

Думаю, что Александр Александрович видел в «Интеллекте» проект, аналогичный программе «Великого общества», которая связана с именем Линдона Джонсона. При всей разнице в масштабе обе программы были направлены на то, чтобы выявить и направить на обучение талантливую молодежь из небогатых семей.

Александр Александрович уговаривал ярких лекторов из числа ведущих ученых-гуманитариев почитать школьникам лекционные курсы или хотя бы прочесть отдельные лекции.

¹⁸ Я не полагаюсь исключительно на свою память, а опираюсь на разнообразные записи, сделанные в те годы в процессе работы и отложившиеся в моем личном архиве.

¹⁹ Ю. А. Тарантов, доктор физико-математических наук, работал тогда в Научно-исследовательском институте химии при СПбГУ.

Именно таким образом были привлечены к участию в проекте академик Александр Михайлович Панченко (1937–2002), Борис Валентинович Аверин, Сергей Акимович Кибальник и другие. Александр Александрович бывал на конференциях «Интеллекта», много и заинтересованно общался с выпускниками весной 1993 г., когда для них был устроен прием в редакции газеты «Невское время». Поскольку зимняя и летняя школы длились по неделе каждая, мне приходилось пропускать по два институтских присутствия. Я в таких случаях даже не отпрашивался, а просто извещал Александра Александровича, что участие в проекте, в который он меня направил, требует этой жертвы. И он меня без возражений отпускал.

Своего помещения у «Интеллекта» сначала не было. Первая лекция из числа запланированных состоялась вечером 26 сентября 1992 г. в здании бывших Бестужевских курсов, на географическом факультете (Васильевский остров, 10-я линия, д. 33, 66-я аудитория). Это была лекция академика А. М. Панченко. Посвящена она была эпохе Ивана Грозного, однако, как и следующие его лекции, содержала многочисленные «выходы» в современность. В ту осень академик был постоянно и крепко не в духе, и от него доставалось по первое число как давно покойным деятелям, так и современникам. Патриарха Никона он обличал так, что человек с воображением мог бы принять академика Панченко за протопопа Аввакума. А в лекции «О русском самозванчестве» он приравнял к самозванчеству любое использование любого псевдонима и исходя из этого принялся бранить всех Гайдаров, которые на самом деле Голиковы: и Аркадия, и Егора, и даже Тимура. Они оказались виноваты перед академиком, в частности, тем, что происходили из Арзамаса – «а это захолустье и, значит, самая что ни на есть кислая дрянь». Я, слушая его лекции, разумеется, обращал внимание на очень интересные наблюдения, относившиеся к русской культуре XVII–XIX вв.; но на школьников его эпатажные эскапады производили столь сильное впечатление, что они ничего, кроме них, не замечали. Питомцы «Интеллекта», как правило, задавали лекторам много вопросов, и по большей части хороших, свидетельствовавших о понимании. Однако академику Панченко воспитанники «Интеллекта» за всё время лекций, на каких мне довелось побывать, не задали ни одного вопроса: его выслушивали вежливо и провожали молча, отстраненно. В конце 1992/1993 учебного года среди «интеллектовцев» было проведено тестирование: чьи лекции им понравились больше. Безусловным фаворитом был у них Б. В. Аверин, я обрелась где-то в середине списка, академику же Панченко выставили низшие баллы.

Почти все мероприятия, где «интеллектовцы» собирались все вместе, пришлось на 1993 г.: 3–10 января – зимняя школа в университетском городке Петергофа, 13 мая – однодневная выпускная конференция в Менделеевском центре университета, а 30 июня – 7 июля – летняя школа в Петергофе. (Во время летней школы я по просьбе участников организовал поездку в Копорье с головокружительной прогулкой по стенам крепости.) Во время школ преподаватели общались со своими воспитанниками целыми днями. Как однажды выразилась Анна Алексеевна Карцова, преподаватель химии и педагог по призванию, «здесь, где я их окружила собой»... Конференции были основным форматом работы обеих «школ». И на конференциях этих не было разделения по специализациям: все слушали всех. Для преподавателей, интересовавшихся не только своей узкой специальностью, такое – пусть мимолетное – напоминание о старинном универсализме, с которым связано самое слово «университет», было и приятно, и полезно. От программистов мы тогда получили некоторое представление о том, что нам всем впоследствии предстояло освоить в связи с компьютеризацией. Математикам я смог задать накопившиеся у меня вопросы. Но лучше всего запомнилось, как обычно и бывает, не самое важное: томные девицы из групп, специализировавшихся по биологии. Они преспокойно сообщали о своих удачных генетических опытах: «Эту клетку мне удалось убить», а о неудачных – «к сожалению, опухоль не возникла». Главное же – все мы, участники программ «Интеллекта», на неделю оказывались в несколько искус-

ственной, но очень уютной среде, где можно было немного отдохнуть от среды обычной и вдохновиться на новые свершения.

В том виде, в каком она была задумана, программа «Интеллекта» действовала всего год, а именно 1992/1993 учебный год. Летом 1993 г. состоялся новый набор, однако уже осенью стало заметно, что родители настроены не на многостороннее развитие своих чад, а на их натаскивание на строго определенный вуз. Информация о том, что питомцы «Интеллекта» практически все поступили куда хотели и вовсе не обязательно по той специальности, какой занимались в «Интеллекте», их не убеждала. Дефицит спонсорских денег вынудил отказаться от зимней и летней школ. Появилась и плата за обучение – сначала небольшая. Штатный психолог «Интеллекта» сказал мне тогда: «Раньше принимали лучших из тех, кто набирал высокие баллы в тестах, теперь – мало-мальски годных, лишь бы они готовы были платить». Правда, газета «Смена» 25 марта 1994 г. бодро сообщила: «“Петербургский центр поиска и поддержки талантов” обрел свое помещение» (на 3-й линии Васильевского острова, дом 46). Но мне по этому случаю сразу вспомнилось наблюдение великого мудрого Сирила Норткота Паркинсона: как только организация обзаводится постоянным помещением, она теряет эффективность и динамизм. (Паркинсон указывал, в частности, что Дворец Наций в Женеве был закончен строительством в 1937 г., как раз накануне роспуска Лиги Наций.).²⁰ Конечно, гимназии или библиотеке постоянное помещение необходимо, но у «Интеллекта» не было ни своего книжного собрания, ни лабораторий: в «скитальческом» состоянии он работать вполне мог. Теперь же группы стремительно редели и закрывались одна за другой.

Весной 1994 г. Тарантовы пришли к выводу: «Нам предлагают для обучения не тех детей; мы должны подготовить их сами». В обретенном помещении решили открыть платную школу, состоящую из одного класса: 8-го в 1994/1995 и 9-го в 1995/1996 г. Предполагалось, что когда они доучатся до 11-го класса, то есть в 1997/98 г., к работе с ними подключатся преподаватели «временно» распушенных групп. В классе было всего восемь человек. Я в 1983–1986 гг. преподавал историю в сельской школе, и хотя этот эпизод жизни вызывал больше горьких воспоминаний, чем приятных, согласился поработать в школе при «Интеллекте». Поскольку в том классе изучалась история России, мы организовали для учеников поездки в Старую Ладугу и Новгород. Увы, вся эта затея показала, что мы в очередной раз спутали Россию с Америкой. В Америке, если уж человек заплатил за свое обучение, он, как правило, будет как следует учиться: знания нужны для дальнейшей карьеры, да и не пропадать же деньгам... В России же в такой ситуации почему-то возникает совсем другая мысль: «Я заплатил – и я еще буду напрягаться? Вы сделайте мне интересно!» Проверки успеваемости весной 1995 г. показали, что уровень знаний учеников платной школы при «Интеллекте» был не выше, а ниже, чем в обычной школе. На педсовете Л. Б. Тарантова сначала открытым текстом предложила «утопить всех в двойках», а затем повела с каждым отдельно взятым учителем доверительный разговор о необходимости увлечь своим предметом. Не подозревая о том, она один в один повторила приемы школьных методистов советского времени. Для меня это стало окончательным сигналом, что проект безнадежен.

Александр Александрович регулярно выпрашивал меня о состоянии дел «Интеллекта», но рассказы мои никогда не комментировал, а лишь принимал к сведению. Как я теперь понимаю, он хотел посмотреть, что получится, но не делал на «Интеллект» единственную ставку. И на так называемом «рынке образовательных услуг», и в стране ситуация менялась стремительно; все набивали себе шишки и учились на своих и чужих ошибках. В ту воду, в какую мы вошли летом 1992 г., уже год спустя войти стало невозможно.

Видимо, поэтому Александр Александрович совершенно спокойно отреагировал на мое решение прекратить работу в школе со следующего учебного года – 1995/1996. В тот

²⁰ Памфлет «Новое здание, или Жизнь и смерть учреждений».

год историю там взялся преподавать Густав Александрович Богуславский (1924–2014). Я никогда не считал себя педагогом, а для Богуславского педагогика была первым делом. Я – специалист по новой истории Запада, он – по истории России. Но в школе мы с ним словно поменялись своими амплуа. Я преподавал историю России, он – новую историю. Мне рассказывали, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы заинтересовать учеников историей, очаровать их уроками-лекциями и почти не ставил оценок, тогда как я, после того как понял, с кем имею дело, «заваливал» их заданиями и, бывало, ставил каждому по две-три оценки за урок. Но результаты у меня и у него были примерно одинаковые – плачевные. Летом 1996 г. в Санкт-Петербурге резко повысилась плата за аренду помещений. Бороться за сохранение такой школы никто не захотел, да, наверное, уже и не мог. И Тарантовы закрыли программу «Интеллект».

Единственному «звездному» выпуску «Интеллекта» в 2014 г. исполнился 21 год. Уже можно проследить если не судьбу, то карьеру некоторых выпускников. Я мало имел дела с теми, кто специализировался по естественным и точным наукам. Сведения, которые мне удалось собрать, относятся только к гуманитариям.

Васильев Арсений Владимирович в 2010 г. стал генеральным директором группы компаний «УНИСТО Петросталь».

Лушников Алан Валерьевич в июле 2006 г. стал заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, затем был помощником министра транспорта РФ²¹ И. Е. Левитина, а сейчас (ноябрь 2014 г.) он – помощник вице-премьера А. В. Дворковича. В 2012 г. ему присвоено звание почетного железнодорожника. Мне трудно представить Алана в качестве большого начальника. Но я очень хорошо помню, как картинно он рассказывал на одном из занятий в «Интеллекте» о пирате Хайреддине Барбароссе. А его цветастый шарф фантастической длины, вероятно, с улыбкой вспомнят и те «интеллектовцы», кто не помнит по имени самого Алана.

Марголин Григорий Михайлович несколько лет был пресс-секретарем администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, сейчас он – начальник управления Избирательной комиссии Санкт-Петербурга.

Парфентьев Павел Александрович – генеральный директор Аналитического центра «Семейная политика. РФ», председатель Межрегиональной общественной организации «За права семьи», общественный эксперт в области фамилистических аспектов законодательства и семейной политики. Член оргкомитета Всемирной конференции по домашнему образованию – 2012 (она проходила в Германии). Советник Всемирного конгресса семей по международному праву, по правам человека и по российскому конституционному, гражданскому и семейному праву. Павел не учился в старших классах школы, а сдавал экзамены экстерном. Это обстоятельство, которому мы тогда не придавали большого значения, в его случае оказалось решающим для выбора жизненной стези. Все прочие приходили в «Интеллект» после занятий, утомившись от общения в своих классах; для Павла же «Интеллект» был едва ли не единственным местом общения, а энергия у него в ту пору и вовсе была через край, несколько даже подавляя и раздражая других. Специализировался он по религиоведению, при этом сам, пройдя через увлечение кришнаитством, в конце концов стал католиком восточного обряда; на Украине таких называют униатами.²² В Римско-католической церкви процедура канонизации святых (беатификации) чрезвычайно сложна, и П. А. Парфентьев в этом процессе – человек не последний, а именно: «вице-постулатор процесса беатификации

²¹ О роли А. В. Лушникова в реформировании системы управления железнодорожным транспортом см.: Гурьев А. Из тупика. История одной реформы. СПб., 2008. С. 629, 642–643, 720–724.

²² Недавно он в соавторстве выпустил капитальное сочинение: Козлов-Струтинский С. Г., Парфентьев П. А. История Католической церкви в России. СПб., 2014.

. Сборник статей. «Россия и США: познавая друг друга. Сборник памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko»

русских католических мучеников XX столетия». Он участвовал также в создании Толкиновского общества Санкт—Петербурга.²³

Я замечая, что борьба с попытками введения так называемой ювенальной юстиции, с юридическими новшествами, заимствованными главным образом из Скандинавии и разрушительными для традиционной семьи, в последние годы заметно повысила востребованность всего того, что делает сейчас П. А. Парфентьев.²⁴ 13 апреля 2013 г. он обсудил в прямом эфире проблемы российской семьи с протоиереем Димитрием Смирновым,²⁵ который отвечал тогда в РПЦ за работу с силовиками. Как почти любой православный, он не питает симпатий к униатам. И уж никак Димитрий Смирнов не привык выслушивать поучения от младших по возрасту и статусу. Однако компетентность Парфентьева в юриспруденции в сочетании с его жестко консервативной христианской позицией заставила даже протоиерея Димитрия Смирнова вести беседу с ним в тоне подчеркнуто мирном и заинтересованном; вероисповедные различия в той беседе не проявились вообще никак. Два дня спустя одна из слушательниц — Евгения Исакова, прочитав запись разговора, написала: «Спасибо за беседу, очень приятно видеть таких благообразных молодых людей. И где только отец Димитрий их находит?»

Конечно, было бы упрощением однозначно ответить: в «Интеллекте». У этого начинания Александра Александровича Фурсенко не было продолжения. Но кое-какие плоды оно успело принести даже по результатам единственного года полноценной работы.

²³ См. его книгу: *Парфентьев П. А.* Эхо благой вести: христианские мотивы в творчестве Дж. Р. Толкина. М., 2004.

²⁴ См.: *Парфентьев П. А.* Без школы: юридический путеводитель по семейному образованию и экстернату. М., 2011.

²⁵ См.: <http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/cerkov-18733/>

Р. Ш. Ганелин, Б. В. Ананьич. Один из лидеров американистов России об ее исторической судьбе после распада СССР

А. А. Фурсенко в 1994 г. был вице-президентом С.-Петербургского научного центра РАН, как обозначено в материалах состоявшегося тогда симпозиума в южно-африканском Центре российских исследований Кейптаунского университета. В тот момент сотрудничество между двумя научно-организационными структурами в разных частях света не сводилось к одному только официальному или даже официозному подходу к делу. Поэтому выступление А. А. в Кейптауне носило характер свободного изложения его взглядов по коренному вопросу российской и всемирной действительности тех лет с явными следами опыта многолетней исследовательской работы в области историографии США, мировой добычи и рынка нефти, а также общих вопросов экономической истории дореволюционной и советской России.

Тем не менее авторы настоящих строк рассматривают эту малоизвестную работу А. А. как явление, выпадающее из общего хронологически-тематического и жанрового строя его творчества, поскольку анализом текущих событий и явлений современности он до того почти не занимался и, как представляется, даже избегал его (самыми поздними хронологически предметами его занятий были Кубинский кризис и «Америка 70-х»). Впрочем, может быть, именно этим и определяется целесообразность рассмотрения доклада с представлением читателю возможности ознакомиться с ним. Доклад на Кейптаунском симпозиуме, озаглавленный «Мечты и действительность в современной России», начинался словами: «Нации склонны иметь мечты, свои собственные верования и вдохновенные ожидания лучшего будущего». «Наиболее известна, – продолжал А. А., – американская мечта о личном преуспевании в каждой сфере жизни – экономической, социальной, политической и культурной. В американской народной культуре эта мечта связана с движением к обществу изобилия, прав человека и достижений личности».

«Какова же та национальная мечта, – ставил он вопрос, – которая существует в сегодняшней России, проходящей через тяжелые испытания глубокого социально-экономического и политического кризиса?» Ответ на этот вопрос, который он дает после некоторых о нем рассуждений, таков: «Русские сейчас видят свою национальную мечту скорее не в лучшем будущем, а в предотвращении дальнейшего ухудшения жизни». А рассуждения А. А. состояли в том, что «роль Горбачева в изменении курса истории невозможно переоценить», хотя «русские не умели по достоинству признать того, что он сделал для их общества». «Ему пришлось уйти в отставку с поста президента, оставив разрушенными Советский Союз и всю систему, созданную поколениями его предшественников», – отмечал А. А. Он считал в тот момент, что Ельцин «действовал более решительно». Имелось в виду намерение президента России осуществить ее переход «от традиционной коммунистической к современной западной модели развития». Но сопоставление двух президентов-реформаторов делалось все же в пользу первого из них. «Рассматривая их курс с точки зрения исторической перспективы, я думаю, – говорил А. А. о деятельности администрации Ельцина, – что ее члены в известном смысле продолжали, хотя и непоследовательно, политику Горбачева: Ельцин не предложил никакой новой мечты, а шаги на его пути отмечены многими ошибками, особенно в глазах русского народа».²⁶

²⁶ Fursenko A. A. Dreams and Realities of Present-Day Russia // Russia in the Contemporary World. Proceedings of the First Symposium in South Africa Centre for Russian Studies, University of Cape Town. 17–19 August, 1994. Ed. by Apollon Davidson and Irina Filatova. Cape Town: Centre for Russian Studies, University of Cape Town, and the Marvol Foundation, 1995. P. 15.

— Вместе с тем на вопрос: «В какое время российской истории вы предпочли бы жить?» А. А. отвечал: «Сейчас» и пояснял: «Несмотря на все трудности, мы видим громадные перемены в политической жизни страны — отход от полицейского государства и тоталитарной власти с появлением ранее не существовавших свобод. Эти события так важны, что никто не может их игнорировать. Однако экономическая и политическая система России находится в связанном с переворотом беспорядке».

В этом, одном из ранних исследовательских очерков российских событий 1990-х гг. нельзя не отметить отсутствия поисков злонамеренных зарубежных сил, ссылок на «вашингтонский обком» и его влияние в Москве как причину наших трудностей. Между тем этот сюжет не только был развит впоследствии, но и часто появляется в современной печати, в том числе академической.²⁷ Исследовательский профессионализм и разносторонняя глубокая осведомленность А. А. в побудительных мотивах политики США и ее приемах были с этим несовместимы. Они, наоборот, давали ему основания предлагать использование американского опыта для выработки пути развития новой России. «По моему мнению, — заявлял он, — чтобы добиться прогресса в избавлении от старой социалистической централизованной системы, России нужна своего рода современная форма регулирования и управления при полномасштабной рыночной экономике наподобие “Нового курса” или “Великого общества” в Америке». Американский опыт привлекал внимание А. А. не только своим содержанием, но и своей максимальной новизной. Если рузвельтовский «Новый курс» относился к 30-м гг., то продолжавший его план «Великого общества» Л. Джонсона, предусматривавший роль государства в развитии образования, медицины и транспорта, был провозглашен в середине 1960-х гг. и продолжен Р. Никсоном и Дж. Фордом в 1970-х. «Имею в виду нечто вроде советской “новой экономической политики”, — продолжал он, — испробованной в 1920-х гг., но сейчас, в конце XX в., реальное продвижение может быть достигнуто лишь с помощью сложных способов перестройки хозяйства и общества».²⁸

Он усматривал причины этого в «существовании крайне противоречивой ситуации, при которой значительное число пережитков старого режима сочетается с определенным общим направлением к модернизации». Вот как описывал он эту ситуацию на ее «человеческом уровне»: «Прежняя *номенклатура* в правительственных центральных и местных организациях, как и в различных хозяйственных структурах, государственных, полугосударственных и частных, была удачно интегрирована в новую систему, принявшую более либеральное управление. Она получила также новую силу, а это открыло путь для массовой коррупции».²⁹

Падение Берлинской стены в 1989 г. и последовавшие за этим перемены в Центральной и Восточной Европе представлялись А. А. драматическими, но в отличие от знаменитого Фукуямы он видел в этом конец не истории, а старого мирового порядка. Порядок этот был разрушен распадом Советского Союза. «Империя, создававшаяся веками, перестала существовать», — таков был один из вердиктов истории. «Политическое окружение России весьма нестабильно, — продолжал А. А. — В каком государстве мы живем? Оно называется “Содружеством независимых государств”. Россия только одно из них». Роль «Содружества» была для него «не совсем ясна», и «предсказывать, сколько оно просуществует», он не считал возможным. «Тенденции к распаду очень сильны, — подчеркивал А. А. — Тенденции к разъединению очень сильны, они существуют даже внутри Российской Федерации в различных ее

Экземпляр кейптаунского доклада А. А. Фурсенко любезно предоставлен авторам академиком А. Б. Давидсоном.

²⁷ См.: Дзарасов Р. С. Экономика «насаждения отсталости». К действительным причинам реформирования РАН // Вестник РАН. 2014. Т. 84. № 4. Апрель. С. 291–303.

²⁸ Fursenko A. A. Dreams and Realities of Present-Day Russia. P. 19.

²⁹ Ibid. P. 15.

регионах — Татарстане, Чечне, Якутии и т. д.». ³⁰ Как показало последовавшее двадцатилетие, это тревожное профессиональное предвидение оказалось оправданным.

«Развод» между Россией и тремя прибалтийскими республиками не был «дружественным», — констатировал А. А., подробно разбирая в качестве «примера» этого положение, сложившееся в Эстонии. 40 % населения Эстонии составляли русские, указывал он. Большинство их было сосредоточено в северо-восточной части страны, граничащей с Россией, и не хотело покидать независимую Эстонию с ее более высоким жизненным уровнем. Поэтому многие русские в Эстонии, как и в Латвии, Литве, на Украине, проголосовали за независимость республик, в которых они жили. Но их права стали предметом разногласий между этими республиками и правительством Российской Федерации. В экономике Эстонии А. А. усматривал вызванные этими разногласиями и ее независимым существованием трудности. В советской Эстонии летом отдыхало много ленинградцев. Объявление самостоятельности воспрепятствовало этому, и 90 % эстонских курортов пустуют, отмечал А. А., сам многолетний завсегдатай Усть-Нарвы. С помощью иностранных займов и инвестиций Эстонии удалось сохранить экономический баланс, однако это происходило при драматическом падении общего национального продукта и значительном увеличении безработицы, особенно в населенных русскими районах с более развитой промышленностью. В Нарве со столыщенным населением потеряло, по его сведениям, работу десять тысяч человек. А. А. видел причины внутривнутриполитических трудностей в независимой Эстонии и ее неминуемого конфликта с Россией в том, что по новым эстонским законам лица, не знавшие эстонского языка (это относилось в первую очередь к многочисленным переселенцам в Эстонию после войны), не получали прав гражданства. Он ссылаясь на то, что ельцинская администрация испытывает сильное давление в поддержку компатриотов со стороны русских национально-патриотических сил. К этому следует добавить, что в 1994 г., по всей вероятности, еще не получили известности решительные шаги Ельцина, предпринятые им во имя независимости прибалтийских республик в 1990 г., а во второй половине 1990-х и в 2000-х гг. оправившаяся экономически Эстония вела себя по отношению к России без особенной учтивости. ³¹

Исторический момент, который отражал в своем докладе А. А., характеризовался конфликтами в бывших союзных республиках вокруг их русского населения, а также между ними самими. Идентичным эстонскому он считал молдавский сценарий. Однако до таких трагических событий, как в Молдавии, в Эстонии дело не дошло. Сбылось его тревожное предсказание и о том, что «наиболее опасно развитие военных действий в Чечне, которое серьезно угрожает общественной устойчивости в России». ³² Нельзя не отметить реалистического подхода А. А. к использованию национального вопроса в республиках распавшегося Союза зарубежными странами в своих интересах. Он имел в виду не США, как это стало общепринятым, а Турцию, Румынию и Иран. «Российская Федерация — конгломерат наций, и мир внутри и на ее границах — необходимое условие самого ее существования. Добиться мира — это, вероятно, наиболее трудная и решающе важная проблема сегодняшней России». Эти слова А. А. приобрели еще большее значение двадцать лет спустя.

«Однако, — продолжает он, — перед Россией стоят и другие проблемы. Стоит задуматься о том, какие из них раннего происхождения, а какие появились только после распада Советского Союза. Я думаю, что нынешние проблемы уходят своими корнями в старую советскую систему и даже в дореволюционную российскую действительность. Кризис в России имеет многостороннюю природу. Одна из его сторон — экономическая несостоятельность.

³⁰ Ibid. P. 16, 19.

³¹ См.: Ганелин Р. III. Почему прекратились мои занятия эстонской историей // Ганелин Р. III. В России двадцатого века. Статьи разных лет. М., 2014. С. 818–824.

³² Fursenko A. A. Dreams and Realities of Present-Day Russia. P. 16.

Важнейшее свидетельство критического состояния экономики — драматическое падение ее показателей». Используемые А. А. работы показывали падение российского общего национального продукта между 1989 и 1993 гг. более чем вдвое против 20 % в Польше или Венгрии и 40 % в Словакии, Болгарии и Румынии. В течение первых трех месяцев 1994 г. он констатировал беспрецедентное для всего периода реформ падение промышленного производства на 25 %. Самые оптимистические сценарии выхода из кризиса предусматривали для этого от двух до пяти лет.

А. А. предпринял попытку аналитической оценки сложившейся в стране экономической ситуации. «Одной из самых сложных сегодняшних российских проблем» он считал «решительную реструктуризацию обрабатывающей промышленности». Несколько десятилетий гонки вооружений привели к тому, что в распоряжении военных предприятий оказалась главная часть государственных доходов, редких металлов, самых светлых умов и рабочей силы. Не менее трех четвертей населения С.-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других промышленных центров работало на снаряжение крупнейшей армии мира. В течение нескольких предшествовавших лет, отмечал он, неоднократно делались заявления о переходе военных заводов к выпуску потребительских товаров. Некоторые из них были закрыты, только немногие приблизились к действительной конверсии. Несмотря на это, военные заводы продолжали добиваться правительственной поддержки, и иногда им удавалось получить ее в Государственном банке. А. А. усматривал в этом российскую традицию столетней давности, связанную с государственным кредитованием безнадежных предприятий тяжелой промышленности, прикрывавшимся царским министром финансов С. Ю. Витте, которого А. А. представлял как наиболее значительного из числа государственных деятелей дореволюционной России.

Наряду с «обвалом» военного производства причину кризиса он видел в прекращении кооперации с бывшими союзными республиками, которые снабжали Россию (имелась в виду РСФСР) сырьем, инструментарием и получали от нее машины и другие товары. Еще одну причину происходившего в области экономики А. А. видел в хаосе в банковском деле и финансовой системе в целом. «Нормальное функционирование финансовой системы — основа любой успешной рыночной экономики. Но в России оно далеко от нормального, — считал А. А. — В стране создано 30 000 частных и участвующих (выразительный термин, примененный автором. — *Р. Г.*) коммерческих банков и бирж. Они действуют бок о бок с Государственным Центральным банком. Но нет ни новой денежной системы, ни регулируемого валютного курса рубля. Самая опасная черта нынешнего финансового кризиса — галопирующая инфляция. В близком будущем она может превратиться, по мнению экспертов, в гиперинфляцию. В феврале 1992 г. американский доллар можно было обменять на 120 руб., в 1993 г. — на 700, в феврале 1994 — на 1700. В середине 1994 валютный курс был около 2000 руб. за доллар, а в феврале 1995 г. — 5000 руб.». ³³

А. А. предвидел «в близком будущем массовую безработицу, которая могла, в свою очередь, угрожать демократическим реформам в стране». Согласно расчетам, которыми он пользовался, в обозримом будущем инфляция, включая скрытую, могла достичь 10–20 %, составляя по официальным данным 1 %, а по оценке Международной организации труда — 6–8 %. Хотя предвидение А. А. относительно безработицы оказалось далеким от полного осуществления, причины сохранения занятости были тоже неутешительны и заключались в низком уровне производительности труда и недостаточной эффективности производства в целом.

Что касается добычи и экспорта нефти и газа, то А. А. вопреки мнению ведущих российских экономистов не видел в этом опору для экономики России ввиду падения добычи

³³ Ibid. P. 17.

нефти с 1991 г. примерно на две трети. Он не считал ее надежным источником твердой валюты для казны не только по этой причине, но и потому, что нефтяная промышленность постепенно становилась независимой от государственного контроля. Это относилось не только к новым корпорациям, таким как «Тюмень-нефть» и «Газпром», но и к сотням (!) частных компаний, покупавших правительственные лицензии на экспорт нефти. Механизм дела, в изложении А. А., состоял в том, что эти компании главную часть своей нефти продавали за границу странам Балтии или через их посредство, а выручку инвестировали в зарубежные банки или компании. По российским сведениям, только 25 % доходов от нефтяного экспорта поступали в Россию, налогообложение остальных нефтяных доходов было для России невозможно. Нефтяные доходы шли на оплату импорта продовольствия. Его производство внутри страны А. А. считал задачей, важной для «политического положения в стране и самой судьбы русской нации». ³⁴

Опираясь на источники, которые представлялись ему надежными, А. А. считал, не скрывая своего к этому отношения, что Россия ежемесячно теряла от 1,5 до 9 млрд долларов, нелегально или полулегально оказывавшихся за границей в то время, когда правительство настойчиво добивалось предоставления России Международным валютным фондом 1,5 млрд долларов для стабилизации ее финансовой системы. Ссылка А. А. на полулегальность означала указание на несовершенство российского законодательства. А. А. считал отсутствие мер для привлечения капитала в российскую экономику и его защиты одной из причин сложившейся ситуации. Другой причиной был политический строй новой российской государственности, не вызывавший у инвесторов доверия.

Экономический кризис вел к растущему несоответствию между заработками и ценами. В течение предшествовавших докладу А. А. двух лет заработная плата увеличилась в 109, а товарные цены – в 245 раз. Официальная статистика показывала сокращение реальных доходов вдвое, а опросы – втрое. В апреле и мае 1994 г. средний месячный заработок в Петербурге составлял около 160 000 рублей, в промышленности города – 140 000, в науке – 120 000, в культуре и искусстве – 106 000, в администрации – 190 000, в банках – 350 000. Летом 1994 г. машинисты метро угрожали забастовкой, требуя 600 000 руб. в месяц, в то время как высшего уровня профессор университета или научный сотрудник Академии наук получал лишь половину этой суммы.

Одной из наиболее животрепещущих проблем в России, особенно в больших городах, А. А. считал «высокий уровень преступности». «По данным опросов, – писал он, – более трех четвертей жителей Петербурга не считают себя в безопасности от этого. Получили широкое распространение мафия и организованная преступность, при предшествовавшем режиме практически неизвестные». А. А. ссылаясь на происходившие в год его работы над докладом слушания в подкомиссии Конгресса США, возглавлявшейся сенатором Сэмом Нанном, которая признала организованную преступность в бывшем Советском Союзе «глобальной угрозой». Участвовавший в этих слушаниях первый заместитель российского министра внутренних дел генерал М. К. Егоров сообщил, что с 1990 до начала 1994 г. число организованных преступных групп увеличилось с 785 до 5691. Они возглавлялись 3 тысячами опытных преступников, 956 групп работали под крышей 155 уголовных союзов при отсутствии общероссийского центра ввиду борьбы между ними за сферы влияния. Общее число их активных членов составляло около 100 000. Старые и новые уголовники, представители теневого и подпольного бизнеса, все они вносили свой вклад в действия преступных групп.

³⁴ А. А. Фурсенко отмечал падение сбора зерновых с 99 млн тонн в 1993 г. до 90–95 – в 1994 г. и подчеркивал необходимость продолжения зарубежной продовольственной помощи, которая предотвращала голод.

Отчасти в связи с этим А. А. ставил вопрос о природе новой российской государственности. Принятая в 1993 г. конституция не представлялась ему действенной. Россия нуждалась, по его мнению, в «надежном правовом механизме, который давал бы конституционную защиту и гарантии всем сферам жизни, включая гражданские права, частную собственность и предпринимательство, а также иностранные инвестиции». «В настоящее время, – подчеркивал А. А., – ничего этого нет».³⁵ Считая замену руководства страной Коммунистической партией установлением многопартийности «самым важным политическим достижением России», А. А. отмечал, однако, что «демократия России в хаосе», политические силы конфликтуют между собой даже в правительственной среде. Ельцина, не имевшего поддержки ни одной сильной политической партии, он уподоблял в этом смысле царю.

Перед президентом и его сторонниками он ставил вопрос, с какими социальными и политическими группами они себя связывают и какую политику выбирают, чтобы обеспечить выживание нации. «Уместно спросить, – заявлял А. А., – какого рода развития событий нам ждать? И, наконец, кто поведет страну: Ельцин, Жириновский, Зюганов или Гайдар?» Последующие рассуждения А. А. подтверждали, что его надежды были связаны с Гайдаром. Он видел реальную угрозу со стороны популистов во главе с Жириновским, сомкнувшихся с реакционными экстремистами, и считал, что и те и другие «используют экономические трудности России и политическую неустойчивость в стране в своих собственных интересах». Что касается Зюганова, то А. А. обращал внимание на участие «нескольких групп прежних коммунистов» в так называемом «Фронте национального спасения», где они вместе с националистами и монархистами «открыто призывают к свержению нынешнего правительства и провозглашают свое намерение изменить общественный строй». Рассматривая патриотизм как «консолидирующую силу» для «народной поддержки в преодолении экономических проблем и политического хаоса», он подчеркивал, что это возможно в том случае, если патриотизм будет использован сторонниками реформ и социал-демократических взглядов, а не сталинистами, брежневцами или последователями Жириновского.

Доклад был сделан А. А. Фурсенко и сейчас же издан в Кейптауне во время расцвета его творческой деятельности и уже поэтому не может быть определен как завещательное изложение автором своих взглядов. Нельзя, однако, не признать, что текст, к которому он более десяти лет до конца своей жизни не обращался, оказался и через двадцать лет исполненным оправдавшихся предвидений и предупреждений, существенных и поныне для участников международных конфликтов на разных сторонах. Воспроизведем те мысли, которые для А. А. представлялись итоговыми в его анализе тогдашней действительности и касались, в частности, российско-американских отношений. «Несколько слов о внешней политике России. Советский Союз прекратил свое существование, но Россия по-прежнему заинтересована в сохранении связей с прежними Советскими республиками либо в форме существующего Содружества, либо в какой-либо другой форме, например наподобие Европейского сообщества. Основы для старого Союза больше нет, но России нужна новая форма сотрудничества на базе взаимных интересов и согласия.

Во внешней политике России произошли радикальные перемены. Противоборство с Западом практически прекратилось. Россия перестала быть сверхдержавой. Нынешнее правительство России стремится к сотрудничеству с прежними соперниками. Новая российская военная доктрина сосредоточена на обороне. Но я думаю, что было бы серьезной ошибкой не считать Россию великой державой при ее огромном экономическом потенциале, природных ресурсах, громадной и сильной армии. Я упоминаю об этом ввиду очевидных разногласий между Россией и Соединенными Штатами по поводу роли России в предложенном американцами Восточной Европе плане “Партнерство ради мира”. Я думаю, что роль России

³⁵ Fursenko A. A. Dreams and Realities of Present-Day Russia. P. 19–20.

. Сборник статей. «Россия и США: познавая друг друга. Сборник памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko»

в мировой политике должна соответствовать сохранившемуся ее значению главного игрока во многих сферах. В противном случае мир может оказаться лицом к лицу с совершенно иной политической ситуацией в России: жаждут возрождения прежней имперской политики с одной стороны – Жириновский, а с другой – старые реакционные группы.

В заключение разрешите выразить надежду, что, отвечая требованиям современности, Россия в ее усилиях продолжить реформы добьется в обозримом будущем осуществления мечты своего народа о лучшей жизни, как и помыслов в других странах о мире во всем мире. При всех трудностях, теперь по сравнению с догорбачевской и даже горбачевской эрой существуют великие возможности. Пожалуй, никогда в своей истории Россия не пользовалась такой свободой.

После долгой темной ночи расправ и жестокого диктаторского режима мы пользуемся теперь свободой печати и слова. Всего несколько лет тому назад никто и представить себе не мог, что будут изданы романы писателей из черного списка и что их будут читать без опасения судебного преследования и тюремного заключения. Нет больше цензуры в литературе, театре, во всех видах искусства. Средства массовой информации дают публике сведения, прежде совершенно недоступные. Все это создало в России совершенно новую атмосферу, которая, как мне представляется, делает невозможным перевод часов назад и возвращение к прежнему деспотическому правлению. Россия может и впредь испытывать экономические трудности и политическую нестабильность, но ее народ никогда не вернется к прежнему тоталитарному режиму. С этим покончено».

Blair A. Ruble. Recollections of Alexander Fursenko

On a dark Moscow evening in 1987 with distinctively orange Soviet streetlights transforming a light swirling snow into an unnatural color, I sat in my room at the Akademicheskaya Hotel trying to figure out what I would eat, the phone rang. An acquaintance on the other end of the line informed me that just hours before Alexander Fursenko had been elected a Corresponding Member of the Soviet Academy of Sciences. He probably still would be in Moscow and, if so, would be at the second building of the hotel across the way. After checking with the front desk, I was connected to Alexander's room. He was, needless to say, surprised to receive warm congratulations from me so quickly after his election. We would joke about the call for years ahead.

I first met Alexander while I was working as a young researcher at the Kennan Institute in the late 1970s. He had been one of the first Soviet scholars to be in residence at the Institute just months before I had begun working there after having completed my doctoral degree a few weeks before. Alexander remained a strong supporter of the Institute throughout his life, and visited from time to time whenever he would be in the US. We had met during one of those visits and had remained in touch. We shared a natural bond as I had conducted my dissertation research in Leningrad a few years before.

The 1980s were a difficult period to sustain professional contacts across the Cold War divide, and I can't say that Alexander and I were more than aware of one another. He enthusiastically lent support whenever he could to my effort to write a history of postwar Leningrad (which eventually appeared in 1990 under the title *Leningrad. Shaping a Soviet City*). We exchanged greetings – such as my 1987 congratulatory call – and we read one another's publications. Once *perestroika* blossomed, we began to correspond more regularly. When, in May 1989, I was appointed as Director of the Kennan Institute, Alexander became one of the first colleagues to congratulate me.

Beginning in September 1991, I became involved in a number of initiatives to try to integrate now-St. Petersburg academic life into the international social science community. I found myself meeting with Alexander on almost every trip to his city. These conversations helped me to appreciate how much both Russian and American social science and humanities research could be enriched by expanded contact with one another. Alexander had similar goals and we cooperated in these ventures.

Meanwhile, I found myself increasingly impressed with Alexander's expanding professional horizons. I began to realize how much the changes taking place in the late Soviet and early post-Soviet period liberated his mind and his writing. Around this time, I stumbled across a copy of his first book published in 1956 – *Struggle for Partition of China and the American Open Door Doctrine* – at a bookstall in New York's Union Square. The Alexander Fursenko who wrote that book had no visible connection to the lively intellect and assiduous archival research habits of the Alexander Fursenko whom I was coming to know. Such contrast raised so many different questions in my mind that I never felt fully comfortable asking. Did Alexander transform himself as he saw new research opportunities? Or, was the Alexander whom I knew always lurking within the author of *Struggle for Partition*? His magisterial 1967 *Dynasty of the Rockefellers* suggested the second but, as with so many enigmas of Soviet life, no one probably knew, least of all Alexander himself.

As Alexander's administrative responsibilities grew I admired his prodigious efforts to secure a sound future for Academy institutions, especially in St. Petersburg. He assumed these obligations at what was probably the most difficult moment in recent history and he deeply cared about protecting all whom he could protect. Simultaneously, he took every opportunity to steal away to the archives and make up for lost time in repositories that once had been closed to him. Alexander was a man on fire with new possibilities; with far greater energy than I had even though I was decades younger. Watching Alexander taught me a great deal about what it means to be responsible

for an institution and for the human beings whose fates are linked to it; and about what it means to be a dedicated scholar. If, during the 1980s, Alexander was something of an interesting-thought-detached Soviet colleague, by the 1990s he had become a role model.

Around this time I had gotten to know a young historian of the Cold War then working at the University of Hawaii, Manoa, Timothy Naftali. Tim, a Canadian-American, would move to the University of Virginia, eventually directing the Richard Nixon Presidential Library and Museum, and presently serving as the Director of the Tamiment Library and Robert F. Wagner Archives at New York University. Trained at Yale, Johns Hopkins, and Harvard, Tim had impeccable academic credentials. For me, however, he was more interesting for his time in his native Montreal where he once worked as an aide to one of the very few politicians I have ever admired as human being, Quebec Premier Robert Bourassa. Bourassa served during some of Quebec's and Canada's darkest days – including the infamous October Crisis of 1970 – and, as I would later discover when I encountered him while he was teaching in Washington, always retained a rare humanity. Tim very much shared the core values that I appreciated in Bourassa.

Tim had begun working on a volume about the Cuban Missile Crisis and had earned a grant to work at the Kennan Institute in early 1996. By the time Tim arrived at the Institute he had begun collaborating with Alexander on what would become their 1997 classic co-authored work *“On Hell of a Gamble”: Khrushchev, Castro and Kennedy, 1958–1964*; which was followed in 2006 by their *Khrushchev's Cold War: The Inside Story of an American Adversary*. No such successful outcome was assured at the project's beginning. Tim and Alexander had different temperaments, had emerged from different intellectual traditions, had different initial assumptions about what the crisis was really about, and had collected archival documents which often directly contradicted on another.

Tim and Alexander separately raised the possibility of their working on the project together at the Kennan Institute. I immediately understood that we needed to make it happen so that these two increasingly important scholars would have an opportunity to collaborate productively. Eventually, I managed to clear away the usual administrative and bureaucratic underbrush and, for several exciting weeks in 1996, Tim and Alexander shared an office, shared their documents, and shared their commitment to serious disagreement based on evidence.

I made a point during these weeks to walk by during the course of each day to judge the temperature of the room as Tim and Alexander worked their way through their evidence. When I sensed that there might be more heat than light, I would enter and start a conversation about some or other trivial subject. Other times, I would take one or the other out for tea or coffee. I realized that their shared respect for each other, for their sources, and for the participants in the drama of the Missile Crisis was going to produce a landmark work; which, of course, it did.

This account elevates my role in the saga far too high for I was the student. First, I really didn't know the story of the Crisis other than having been a scared teenager when it happened. Second, I learned from them about what dedication to scholarship really meant. Here were two scholars from societies and backgrounds that were far apart, with political views that did not align except in disagreement, who were struggling with linguistic and generational divides that few ever bother attempting to cross. They worked as hard as they did because both firmly believed that together they could generate greater knowledge and insight than either could have done on his own. They were not only correct in that belief, but they acted on it at no small cost to everything else that they did.

Now, when I hear that it is impossible for Russian and American scholars to work together or learn from one another – or for Russians and Americans more generally to have any reason to even bother with one another – I think back to the small scholar office in downtown Washington, where Alexander and Tim disproved nearly every conventional belief about Russian-American relations simply by their stubborn mutual refusal to accept what everyone else told them to be true.

. Сборник статей. «Россия и США: познавая друг друга. Сборник памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko»

~~I remained in touch with Alexander ever after, though we both were often too busy to spend the time we would have wanted.~~ We enjoyed evenings with mutual friends in Washington and in St. Petersburg; we even watched a lunar eclipse together on the front steps of a senior American official's home in a Virginia suburb. But life began to pull us in different directions.

Throughout my time knowing Alexander, I came to greatly admire his scholarship, and his dedication to the cause of knowledge. I came to understand the depth to which glib Cold War era characterizations of colleagues "on the other side" were misguided. Alexander, for his part, never missed an opportunity to support what I was trying to accomplish at the Kennan Institute.

Returning to New York's Union Square for a moment, when I found Alexander's *Struggle for Partition* at a book stall next to a subway exit, the volume had been tossed onto a shelf labeled "propaganda in various languages". Such classification of Alexander's first book was not misplaced. The story of Alexander and his scholarship, though, is that all of us who think we are engaged in serious intellectual enterprises must continue to learn and to grow. Compare Alexander's early works with his later publications and the lesson is clear. I greatly admire the extent to which Alexander learned and grew every day and value the opportunity to have experienced his doing so. His life and career offer a lesson for us all.

История США: взгляд из России

Ю. Г. Акимов. Изоляционизм и интервенционизм колониального периода: отношения Новой Англии с французской Акадией в 30-е – первой половине 40-х гг. XVII в

Первые английские поселенцы, обосновавшиеся в 1620–1630-е гг. на территории Новой Англии, столкнулись со множеством вызовов самого различного свойства, на которые им приходилось искать и находить собственные ответы, оказавшие в дальнейшем большое влияние на формирование американской политической традиции и культуры. Один из таких вызовов был обусловлен отношениями с колониями других европейских государств. Ближайшим «иностранным» соседом Новой Англии была небольшая французская колония Акадия, располагавшаяся на полуострове Новая Шотландия и прилегающих к нему территориях. В первые годы после основания поселений на побережье залива Массачусетс и в прилегающих к нему районах их жители практически не сталкивались с французами из Акадии, будучи отделенными от них обширной «буферной зоной», заселенной индейцами. Эта «буферная зона» занимала северо-восточную часть современного штата Мэн и юг провинции Нью-Брансуик. Предпринятая в 1607 г. Плимутской компанией попытка основать в этих местах поселение закончилась неудачей; так называемая колония Пофэма в устье р. Сагдахок просуществовала всего около года.

Однако с формально-юридической точки зрения эти земли входили в состав нескольких английских и французских колониальных пожалований и соответственно рассматривались Лондоном и Парижем как часть их заморских владений. Более того, англичане считали «своей» всю территорию Атлантического побережья Канады, от реки Сент-Круа до залива Св. Лаврентия. В 1621 г. эта территория была пожалована сэру Уильяму Александеру под латинским названием Nova Scotia (Новая Шотландия). При этом английские власти проигнорировали тот факт, что эти земли в 1603 г. были объявлены французской колонией и некоторое время там существовали французские поселения. В 1628 г. людям Александера удалось закрепиться в районе современного города Аннаполис-Ройял, на месте, где в 1605–1607 и 1610–1613 гг. существовал французский форт Пор-Руайяль. Дальнейшему осуществлению замыслов Александера по созданию шотландской колонии помешала «большая» европейская политика. В 1632 г. между Англией и Францией был заключен договор в Сен-Жермен-ан-Лэ, который предусматривал возвращение французам «всех земель, занятых англичанами в Новой Франции, Акадии и Канаде» во время «Гугенотской войны» 1627–1629 гг.³⁶ По распоряжению Карла I шотландская колония была эвакуирована, и французы восстановили контроль над Акадией. Несмотря на это, сэр Уильям Александер и его наследники продолжали считать себя собственниками Новой Шотландии, в чем их поддерживали английские власти.³⁷

Такая на первый взгляд противоречивая ситуация была достаточно характерна для колониальной Америки того времени, которая рассматривалась европейцами как особая в международно-правовом плане сфера, где не в полной мере действовали европейские

³⁶ Dumont J., baron de Carelsroon. Corps universel diplomatique du droit des gens... Amsterdam-La Haye, 1728. T. VI. P. 31.

³⁷ См.: Brebner J. B. New England's Outpost: Acadia before the Conquest of Canada. N. Y., 1927. P. 26–27.

нормы. Этот подход, основанный на так называемой «доктрине двух сфер», преобладал в конце XVI и в первые десятилетия XVII в. еще не был полностью изжит.³⁸ Естественно, что в этой ситуации никакой официально признанной границы между английскими и французскими владениями в Северной Америке не существовало, хотя вопрос об ее установлении впервые был поднят еще в середине 1610-х г. На практике же сложилась ситуация, когда обе стороны *de facto* признавали существование колоний друг друга в тех пределах, в которых существовали постоянные поселения и форты; но относительно «буферных зон» такого взаимопонимания не существовало.

В 1633 г., в момент возвращения Акадии французам, их самое близкое к Новой Англии поселение на Атлантическом побережье находилось в устье реки Сент-Джон (Сен-Жан), где обосновался Шарль де Сент-Этьен де Ля Тур – торговец пушниной и авантюрист, который во второй половине 1620-х гг. сотрудничал с Александером и его людьми. При этом французские колониальные власти считали границей Акадии реку Кеннебек. В свою очередь, с конца 1620-х гг. побережье современного штата Мэн от устья Кеннебека до устья р. Мачайас стало привлекать плимутских купцов, среди которых наибольшую активность проявлял «первый американский бизнесмен» Айзек Эллертон.³⁹ В 1628 г. его стараниями Совет Новой Англии официально выделил Плимуту небольшой участок в устье Кеннебека. В следующем году там были построены две плимутские фактории, одна неподалеку от современной Огасты; другая, принадлежавшая лично Эллертону, в районе современного городка Кастейн. Затем плимутский торговый пост появился в устье реки Пенобскот, где в 1625 г. уже пытались обосноваться французы, а сам Эллертон построил себе второй «торговый вигвам» еще севернее – в устье небольшой речки Мачайас, в районе современного Ист-Мачайаса.⁴⁰

Однако период процветания плимутской пушной торговли был недолгим. В 1633 г. Ля Тур со своими людьми напал на факторию Эллертона на Мачайасе, захватил находившиеся там товары, уничтожил все постройки и взял в плен служащих. При этом несколько человек погибло в стычке с французами. После этого Ля Тур атаковал плимутскую факторию на Пенобскоте, но там дело ограничилось грабежом.⁴¹ Через некоторое время Эллертон лично явился к Ля Туру и потребовал объяснений и возмещения причиненного ущерба. Тот заявил в ответ, что англичане не имеют никаких прав на территории, расположенные к востоку от Кеннебека, и отказал в какой-либо компенсации.⁴²

На Пенобскоте плимутцы продолжали торговать еще несколько лет – до тех пор, пока на это не обратил внимания командор Изак де Разийи, управлявший в то время Акадией. Официально он был верховным наместником всех французских владений в Северной Америке. В августе 1635 г. Разийи отправил в устье Пенобскота вооруженное судно под командованием своего помощника Шарля д'Ольнэ. Именем короля Франции д'Ольнэ захватил факторию, служащие которой не оказали сопротивления. По словам Брэдфорда, нападавшие «угрозами и посулами» заставили продать им все имевшиеся там товары по цене, которую они сами назначали. Когда начальник фактории Томас Уиллет заговорил о стоимости строений, д'Ольнэ заявил, что они находятся на земле, которая не принадлежит англичанам, и о плате за них не может быть и речи. Он позволил англичанам погрузиться в шлюпку и вер-

³⁸ См.: Акимов Ю. Г. Доктрина двух сфер и международно-правовой статус колониальной экспансии европейцев (вторая половина XVI – начало XVII в.) // Вестник СПбУ. 2004. Сер. 6. Вып. 3. С. 126–131.

³⁹ Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории. Виргиния, Новый Плимут, 1606–1642. М., 1978. С. 281.

⁴⁰ См.: Palfrey J. G. History of New England during the Stuart Dynasty. Boston, 1858. Vol. I. P. 337; Hubbard W. A General History of New England: From the Discovery to MDCLXXX. Boston, 1848. P. 163.

⁴¹ Bradford's History of Plymouth Plantation, 1606–1646 / Ed. by W. T. Davis. N. Y., 1908. P. 292. См. также: Narrative and Critical History of America / Ed. by J. Winsor. Boston; N. Y., 1882–1884. Vol. IV. P. 143.

⁴² См.: Le Jeune L.-M. Dictionnaire générale de biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie et des arts, siècles, mœurs, coutumes, institutions politiques et religieuses du Canada. Ottawa, 1932. T. 2. P. 95.

нуться в Плимут и даже пообещал Уиллету заплатить за то имущество, которое его люди не могли увезти с собой.⁴³

Власти Плимута решили отбить факторию и наняли для этой операции некоего капитана Гёрлинга, владельца 300-тонного судна «Хоуп». В случае успеха ему и его людям было обещано 700 фунтов бобровых шкур. Гёрлингу поручили изгнать французов из захваченной ими фактории, стараясь при этом избегать кровопролития; в случае если они сразу сдадутся, он должен был отдать им «справедливую часть» товаров и имущества. Вместе с Гёрлингом в поход отправился «капитан» колонии Майлз Стэндиш с отрядом из 20 бойцов колониальной милиции, имевших в своем распоряжении небольшое судно.⁴⁴ По выражению Б. Бейлина, экспедиция плимутцев носила «опереточный» характер.⁴⁵ Несмотря на то что в фактории на Пенобскоте находилось всего 18 французов, нападавшие побоялись идти на штурм.⁴⁶

Согласно Брэдфорду, Гёрлинг, не посоветовавшись со Стэндишем, ограничился обстрелом фактории с дальней дистанции, не причинившим противнику никакого вреда. Истратив все имевшиеся у него запасы пороха и не имея возможности их пополнить, он бесславно вернулся в Плимут. После этого плимутцы решили обратиться за помощью к пуританам Массачусетса. В начале осени 1635 г. в Бостон было направлено официальное письмо с просьбой оказать Плимуту помощь людьми, оружием и денежными средствами. В письме говорилось об опасности, исходящей от французов, которые укрепляли свои позиции на границах английских владений и могли стать «плохими соседями для англичан».⁴⁷ Массачусетс занял двойственную позицию. На словах было высказано «единодушное желание» помочь соседям «в исполнении их замысла касательно французов».⁴⁸

Плимутцев попросили прислать в Бостон своих представителей, имеющих официальные полномочия, для заключения соответствующего соглашения. Брэдфорд направил в столицу Массачусетса двух своих людей, снабдив их всеми необходимыми бумагами. Однако руководители пуританской колонии заявили, что они испытывали серьезные финансовые трудности, не имели необходимых боеприпасов и продовольствия и поэтому могли помочь плимутцам только в том случае, если те возьмут на себя все расходы. В итоге переговоры закончилось ничем. Брэдфорд раздраженно писал, что Массачусетс не только не помог Плимуту в его противостоянии с французами, но, наоборот, оказывал им поддержку. Некоторые бостонские торговцы снабжали французов провизией, порохом и свинцом «до тех пор, пока они видели в этом возможность для получения выгоды», и даже сообщали им обо всем, что происходило в английских колониях. При этом Брэдфорд считал, что французы «все больше и больше насаждают на англичан», а кроме того, они сбывали оружие и боеприпасы индейцам, что представляло «большую опасность для англичан».⁴⁹

Л. Ю. Слезкин, упоминая об англо-французских столкновениях на Пенобскоте, высказал мнение, что Брэдфорд «затаил на массачусетцев обиду» и поэтому «сгущал краски», обвиняя их в продаже французам оружия.⁵⁰ Однако бостонские торговцы Эдвард Гиббонс и Томас Хокинс действительно торговали с Ля Туром, а некоторые английские купцы и судовладельцы сбывали ружья, порох и свинец индейцам этого региона в обмен на меха.⁵¹ Дру-

⁴³ Bradford's History. P. 318.

⁴⁴ Ibid. P. 319.

⁴⁵ Bailyn B. The New England merchants in the Seventeenth century. Cambridge-London, 1979. P. 25

⁴⁶ См.: Narrative and Critical History of America. Vol. IV. P. 144.

⁴⁷ Bradford's History. P. 319–320.

⁴⁸ Цит. по: Rawlyk G. A. Nova Scotia's Massachusetts. A Study of Massachusetts—Nova Scotia Relations: 1603 to 1781. Montreal-London, 1973. P. 5.

⁴⁹ Bradford's History. P. 320–322.

⁵⁰ Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории. Виргиния, Новый Плимут. С. 295.

⁵¹ См., напр.: Reid J. G. Acadia, Maine and New Scotland. Marginal Colonies in the Seventeenth Century. Toronto-Buffalo-

гое дело, что Брэдфорд явно преувеличивал степень угрозы, исходившей от французов. Во всей Акадии в то время их было не более 350 человек, по большей части временных работников и солдат, а в фортах и факториях на границе с Новой Англией – несколько десятков. Что касается позиции, занятой властями Массачусетса, то здесь можно согласиться со Слезкиным, который полагал, что она объяснялась, во-первых, разногласиями и конкуренцией двух английских колоний, а во-вторых, тем, что бostonцам было выгоднее иметь соседями не соотечественников, а иностранцев, которых впоследствии можно было бы «на законном основании» изгнать с занятой ими территории.⁵²

Если официальный Лондон в тот период не придавал колонизации Новой Англии антифранцузскую направленность, то его подданные рассуждали несколько иначе. В 1620 г., говоря о необходимости освоения этих территорий, сэр Фердинандо Горджес писал, что если «наши люди покинут колонии... французы немедленно воспользуются возможностью, чтобы поселиться в пределах наших границ».⁵³ Среди знаменитых «Доводов в пользу колонизации Новой Англии» (1628) на первом месте стояло утверждение о необходимости создания в Северной Америке протестантского «оплота против Царства Антихриста, которое иезуиты стремятся возвести повсюду в мире».⁵⁴ Под определение «Царство Антихриста» вполне подходила французская колония в Канаде – ближайшее к Новой Англии место, где господствовал католицизм и где очень активную роль играли иезуиты. Практически с момента основания «Града на холме» его власти относились к французам весьма настороженно. В 1633 г., когда стало известно о том, что после подписания договора в Сен-Жермен-ан-Лэ французы снова водворились в Акадии, губернатор «созвал в Бостоне своих помощников, священников, капитанов и некоторых других влиятельных людей, чтобы посоветоваться что следует сделать для <...> безопасности, учитывая, что французы, будучи папистами, вполне могут оказаться плохими соседями».⁵⁵ Впрочем, единственное, что власти колонии в тот момент решили предпринять, – это построить форт в Нантакете, чтобы защитить вход в Бостонскую гавань, ускорить строительство городских укреплений в самом Бостоне, а также начать заселение земель в районе Ипсуича, чтобы «какой-нибудь враг, найдя их пустыми, не присвоил их и не забрал их у нас».⁵⁶

Вместе с тем в первой половине 1630-х гг. находившаяся еще в процессе становления колония Массачусетского залива стремилась избегать конфликтов с французами. Английские поселенцы еще сами чувствовали себя не слишком уверенно, плохо представляли себе реальные силы и возможности противника, не проявляли интереса к эксплуатации пушных и рыбных ресурсов пограничных областей. В этой ситуации на несколько последующих лет в отношениях между Новой Англией и Акадией наступило затишье. В конце 1635 г. умер командор Разийи, и французская колония оказалась разделенной между тремя правителями – Ля Туром, д'Ольнэ и Николя Дёни, которые сначала просто конкурировали друг с другом, а затем между первым и вторым началась настоящая война. В то же время все трое были заинтересованы в поддержании мира на внешних границах, поскольку все в той или иной мере были втянуты в торговлю с англичанами.

В 1636 г. д'Ольнэ, который помимо прочего контролировал отбитую им факторию на Пенобскоте, старался установить контакты с англичанами из Бостона и близлежащих фор-

London, 1981. P. 95.

⁵² См.: Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории. Виргиния, Новый Плимут. С. 295.

⁵³ A Brief Relation of the Discovery and Plantation of New England, 1620. Printed in London by John Haviland in 1622. Дата обращения 20.08.2014

⁵⁴ См.: Consideration for the Plantation in New England // Hutchinson Papers / Ed. by W. H. Whitmore and W. S. Appleton. Albany, 1856. Vol. 1. P. 27.

⁵⁵ Winthrop's Journal History of New England / Ed. by J. K. Hosmer. N. Y., 1908. Vol. 1. P. 97.

⁵⁶ Цит по: Rawlyk G. A. Nova Scotia's Massachusetts. P. 3.

тов. Э. Шёрт, комендант форта Немакид, писал Дж. Уинтропу, что его посетил некий монах-францисканец, уверявший, что д'Ольнэ желает только «честных отношений между нами». ⁵⁷ Сам д'Ольнэ отправил Уинтропу письмо, где заявлял, что французы претендуют только на территорию до Кеннебека, и высказывался в том смысле, что он не уполномочен решать пограничные вопросы, но что если у англичан есть по этому поводу претензии – английский посол во Франции может предъявить их кардиналу Ришелье. ⁵⁸ В Бостоне к его демаршам отнеслись весьма настороженно, но пока решили ничего не предпринимать.

К началу 1640-х гг. и в Массачусетсе, и в Акадии ситуация резко изменилась. В результате «великого исхода» пуритан из Англии население Бостона и его окрестностей значительно возросло. Это стимулировало развитие новых отраслей колониальной экономики, в частности рыболовства и пушного промысла. Буквально за несколько лет в Массачусетсе во много раз увеличилось число рыболовных и торговых судов. Основной промысловой зоной для рыбаков и скупщиков пушнины из Новой Англии являлись как раз «буферная зона» и собственно побережье Акадии. Рыбаков привлекала цепочка отмелей (банок), расположенная вдоль восточного побережья Нью-Брансуика и Новой Шотландии, где в изобилии водилась треска. На самом побережье имелось множество удобных гаваней, где можно было заниматься сушкой и засолкой выловленной рыбы. Торговцы стремились получить бобровые шкурки, основными поставщиками которых являлись индейцы, обитавшие в Акадии и поблизости от нее. В результате масштабы проникновения английских колонистов на территории, считавшиеся французскими владениями, резко возросли; соответственно увеличилась степень заинтересованности Массачусетса в экспансии в «Восточные края» (*Eastern Parts*, как их называли в Новой Англии).

Акадия в 1638 г. была официально разделена на две части, управлявшиеся соответственно Ля Туром и д'Ольнэ. Соперничество между ними после этого не прекратилось, а, наоборот, стало принимать все более ожесточенный характер. В 1639–1640 гг. дело дошло до вооруженных стычек, в ходе которых погибло несколько человек. В 1641 г. д'Ольнэ добился от французских властей аннулирования полномочий Ля Тура, которому было предписано прибыть во Францию для дальнейших разбирательств. Ля Тур не подчинился этому решению и остался в Акадии. В следующем году Париж отдал приказ об его аресте, а д'Ольнэ было поручено его исполнить. Оказавшись в весьма затруднительном положении, Ля Тур решил обратиться за помощью к Новой Англии, с которой он давно поддерживал взаимовыгодные контакты. Прожив в Акадии более 20 лет, Ля Тур хорошо знал, что эта крошечная колония мало интересовала чиновников метрополии. Главным для него было сокрушить своего противника, а уже потом он надеялся представить свои действия в нужном свете. В 1641 г. Ля Тур направил в Бостон своего ля-рошельского компаньона Николя Гарго де Ля Рошетта с предложением заключить договор о взаимной беспошлинной торговле, а также провести совместную операцию по захвату контролируемой д'Ольнэ фактории на Пенобскоте. Власти Массачусетса с интересом выслушали посланца Ля Тура и заявили, что они не против торгового договора, однако не желают связывать себя какими-либо обязательствами военного-политического характера. ⁵⁹

На следующий год Ля Тур снова попытался заручиться поддержкой со стороны Новой Англии. В октябре 1642 г. Джон Уинтроп сделал такую запись в своем «Журнале»: «Сюда прибыло французское судно с 14 людьми, один из которых – лейтенант Ля Тура. Они привезли письма от Ля Тура к губернатору, полные комплиментов, где выражается желание получить от нас помощь против господина д'Ольнэ. Они пробыли здесь около недели и были

⁵⁷ Winthrop Papers. Boston, 1943. Vol. III. P. 277.

⁵⁸ Winthrop's Journal. Vol. 1. P. 201.

⁵⁹ Ibid. Vol. 2. P. 43.

очень любезно приняты, и хотя они являются папистами, они ходили на наши церковные собрания и вышеназванный лейтенант, казалось, был сильно впечатлен тем, что он увидел, и признал, что нигде не сталкивался с таким прекрасным порядком. Один из старейшин дал ему французский Новый Завет с комментариями Марлорá, который он с благодарностью принял и обещал прочесть». ⁶⁰ По мнению Г. Ланкто, этим «лейтенантом» был Жак де Мюрá, съёр де Лестан – компаньон Ля Тура и его «правая рука». ⁶¹ Однако власти Новой Англии и на сей раз решили не вмешиваться в конфликт, происходивший в Акадии, и ответили вежливым отказом.

Впрочем, пребывание Лестана и его людей в Бостоне принесло определенную пользу Ля Туру. Они сумели продать привезенные ими меха и закупить товары, жизненно необходимые их патрону, в том числе оружие и боеприпасы. Вместе с ними в форт Ля Тура на реке Сент-Джон отправилось торговое судно из Массачусетса, которое было встречено там «с большой радостью». На обратном пути возле Пемакида это судно было задержано д'Ольнэ, который передал его капитану копию королевского указа об аресте Ля Тура и просил передать ее властям Массачусетса вместе с предупреждением, что впредь он будет задерживать все направляющиеся к тому кораблю и конфисковать их грузы. ⁶²

В Бостоне отношение к ситуации, сложившейся в Акадии, было двояким. С одной стороны, происходившие там события были объективно выгодны тем купцам и промысловикам, которые были заинтересованы в эксплуатации акадийских ресурсов, а пока Ля Тур и д'Ольнэ были поглощены борьбой между собой, у них было меньше возможностей противодействовать проникновению англичан во французские владения. С другой стороны, некоторые представители массачусетской элиты опасались того, что события в Акадии могут принять невыгодный для англичан оборот и привести к возникновению для них новых угроз. В связи с этим показательно письмо Джона Эндикотта Джону Уинтропу, в котором говорилось: «я рад, что Ля Тур не получил помощи от нас, и надеюсь, что он и в дальнейшем не получит кораблей. Пока Ля Тур и д'Ольнэ противостоят друг другу, они взаимно ослабляют друг друга. Если Ля Тур одержит верх, мы, без сомнений, получим плохого соседа. Его отец и он, насколько я знаю, пролили кровь нескольких англичан и захватили судно и товары м-ра Эллертона». И далее: «...за границей не является хорошим тоном позволять иностранцам рассматривать форты или укрепления, чем, скорее всего, и занимались эти французы. Я должен сказать, что опасаясь того, что у нас будут сложности с этими французскими идопоклонниками». ⁶³

Как мы увидим в дальнейшем, в отношении Ля Тура Эндикотт оказался прав. В целом же Массачусетс пока предпочитал не вмешиваться в события, происходившие в Акадии, но при этом внимательно следил за их развитием. Что же касалось торговли и промыслов, то они считались частным делом заинтересованных лиц, которые знали, что идут на риск, и должны были сами позаботиться о своей безопасности.

Весной 1643 г., после некоторого затишья, конфликт в Акадии разгорелся с новой силой. Д'Ольнэ, получив подкрепления из Франции, блокировал форт своего противника на реке Сент-Джон. Ля Тур с помощью своей жены, которая ездила хлопотать за него во Францию, также добился присылки ему большого корабля «Сан-Клеман» и полутора сотен человек, в основном гугенотов из Ля-Рошели. В середине мая «Сан-Клеман» подошел к устью р. Сент-Джон. Видя, что д'Ольнэ располагает существенно большими силами, его капитан

⁶⁰ Ibid. P. 84. Имеется в виду Огюстен Марлорá дю Паскье (1506–1562) – видный деятель реформации во Франции, прославившийся своими комментариями к Библии.

⁶¹ Lanctot G. A History of Canada. Cambridge (MA), 1963. Vol. 1. P. 285.

⁶² Winthrop's Journal. Vol. 2. P. 88.

⁶³ Winthrop Papers. Boston, 1944. Vol. IV. P. 394–395.

не рискнул прорываться к блокированному форту Ля Тура. Однако ночью с корабля была спущена шлюпка, которой удалось проскочить в форт. Ля Тур, положение которого, видимо, было критическим, решил в третий раз попытаться получить поддержку от Массачусетса и на сей раз отправился туда лично. На этой же шлюпке он тайно покинул осажденный форт и приказал капитану взять курс на Бостон.

12/22 июня 1643 г. Ля Тур прибыл в столицу Новой Англии, напугав своим появлением и власти, и простых жителей.⁶⁴ Он заявил губернатору Уинтропу, что д'Ольнэ пытается захватить его форт, и просил власти Массачусетса помочь ему вернуться в его владения. В Массачусетсе развернулась бурная дискуссия о том, допустимо ли помогать «идолопоклонникам», стоило ли вмешиваться в конфликт, происходивший в колонии другой державы, и если да, то к каким последствиям это могло привести. Большинство сошлось на том, что принимать открытое участие в акадийской междоусобице не стоило. Однако Уинтроп добился принятия решения о том, что Ля Туру позволялось нанимать в Массачусетсе корабли, вербовать людей к себе на службу, закупать оружие и боеприпасы.

Изменение позиции бостонского руководства можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, свою роль играли экономические интересы. Ля Тур казался выгодным торговым партнером, контакты с которым приносили неплохие доходы бостонским коммерсантам. Помимо вышеупомянутых Гиббонса и Хокинса, весьма влиятельных в колонии людей, дела с Ля Туром имел и сын губернатора – Джон Уинтроп-младший. Во-вторых, необходимо учитывать политические соображения. В Англии шла гражданская война, и рассчитывать на помощь метрополии в случае возникновения какой-либо критической ситуации Массачусетсу не приходилось. Поддержка Ля Тура казалась Уинтропу наилучшим средством обезопасить северные границы колонии и защитить ее экономические интересы. Губернатор подчеркивал, что вербовка наемников – нормальная практика в европейских государствах, а Ля Тур – законный представитель монарха, с которым Англия находилась в мире. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов моральные и религиозные аргументы. Объясняя свое поведение, Уинтроп много говорил о милосердии к «соседу, попавшему в беду», при этом неоднократно ссылаясь на Священное Писание.⁶⁵ Наконец, свою роль мог сыграть шок, вызванный неожиданным появлением в Бостоне большого иностранного корабля, на борту которого находилось полторы сотни вооруженных людей.⁶⁶

Уинтроп утверждал, что его отношение к Ля Туру «одновременно согласуется с принципами гражданского управления и проистекает из Божественного закона».⁶⁷ Однако не все жители Массачусетса были согласны с губернатором. Его упрекали в контактах с католиками-«идолопоклонниками», в том, что он защищал только интересы нескольких бостонских торговцев и что в случае поражения Ля Тура его политика могла подставить колонию под удар д'Ольнэ, наконец, в том, что губернатор не согласовал свои действия с другими колониями – членами Конфедерации Новой Англии. Томас Горджес писал Уинтропу, что, с одной стороны, «весь Северо-Восток считает д'Ольнэ бедствием», но с другой – он испытывает опасения «с тех пор, как Ля Тур заявил, что получит Вашу помощь».⁶⁸ Наиболее жесткая критика действий Уинтропа содержалась в длинном послании, которое подписали Ричард Солтонстол, Саймон Брэдстрит, Сэмюэл Саймондс, Натаниэл Уорд, Эзра и Натаниэл Род-

⁶⁴ Описание его появления в Бостоне см.: *Акимов Ю. Г.* У истоков американской внешней политики: Массачусетс и междоусобица в Акадии в 40-е гг. XVII в. // Вестник СПбУ. 2001. Сер. 6. Вып. 2. С. 108–117.

⁶⁵ Winthrop's Journal. Vol. 2. P. 113–115.

⁶⁶ На жителей (и особенно на жителей) Бостона большое впечатление произвели организованные Ля Туром показательные учения французских солдат, которые своей выправкой разительно отличались от колониальной милиции (*Bremer F. J. John Winthrop: America's Forgotten Founding Father*. N. Y., 2003. P. 344).

⁶⁷ Winthrop's Journal. Vol. 2. P. 115.

⁶⁸ Winthrop Papers. Vol. IV. P. 396.

жерсы и Джон Нортон. Оно получило название «Ипсуическое письмо», потому что все они жили либо в самом Ипсуиче, либо в соседних поселениях графства Эссекс, то есть на самой северной окраине Массачусетса. Все эти люди относились к политической и религиозной элите Новой Англии, а первые трое были магистратами (ассистентами). Основным автором текста и главным инициатором его создания, скорее всего, был Солтонстол, рукой которого написана большая часть письма.⁶⁹

В письме содержался категорический протест против действий Уинтропа, которые, по мнению его авторов, означали втягивание английских колоний в войну. Наличие «справедливых и необходимых» оснований для вмешательства в конфликт Ля Тура и д'Ольнэ ставилось под сомнение ввиду недостатка информации. Губернатору напомнили старую максиму: «*In causa dubia bellum non est suscipiendum*» («В сомнительном случае война не предпринимается»). В этом деле, полагали Солтонстолл и его единомышленники, надлежало руководствоваться словами, обращенными к царю Иосафату: «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господа» [2 Пар. 19:2], а также мыслью из Притчей Соломона: «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору» [Притч. 26:17]. Авторы письма не понимали, какой вред д'Ольнэ может нанести англичанам, если они не будут предпринимать враждебные действия против него, и считали, что д'Ольнэ желает дружбы с англичанами, поэтому с ним вполне можно достичь компромисса. «Войны не должны предприниматься без совета и распоряжения высшей власти», говорилось далее, а «нынешние отношения между королевствами Англии и Франции предполагают, что подданные одного из них не должны вести войну против подданных другого, не имея на то официальных полномочий от государства, если только речь не идет об обороне в случае внезапного нападения». Губернатора предупреждали, что английские наемники, которые будут воевать на стороне Ля Тура, могут рассматриваться французскими властями не как частные лица, а как представители Новой Англии, которой придется отвечать за их действия.

Авторы письма утверждали, что эта война не приведет к славе и установлению мира, а, наоборот, станет источником многих тревог и опасностей для английских колоний, поскольку д'Ольнэ и без того силен, а если он захватит те корабли, оружие и боеприпасы, которые Ля Тур получит в Новой Англии, он станет еще сильнее. Указывалось также, что осложнение отношений с французами может поставить под угрозу коммуникации между Новой Англией и метрополией. Войны стоит начинать только тогда, когда есть шансы на победу, считали они, в случае же с д'Ольнэ эти шансы казались весьма призрачными, поскольку тот «силен в артиллерии, людях и боеприпасах», является «отважным, рассудительным и опытным солдатом и командиром», а также будет иметь преимущество обороняющегося перед нападающими. В заключение отмечалось, что властями Массачусетса не были выполнены все формальные процедуры, которые приняты при объявлении войны, не были предъявлены собственные требования и предложения по мирному урегулированию.⁷⁰ Изоляционистская позиция, занятая авторами письма, была продиктована заботой о безопасности северных английских поселений, которые в случае конфликта могли бы первыми подвергнуться нападению со стороны французов, и стремлением защитить интересы рыбаков Ипсуича, ходивших на промысел к мысу Сейбл на полуострове Новая Шотландия и заинтересованных в поддержании нормальных отношений с д'Ольнэ.

Ответ Уинтропа на «Ипсуическое письмо» был также весьма пространным и красноречивым. Губернатор обрушился на подписавших его магистратов, которые таким образом выступили против губернатора и «решения большинства». Уинтроп назвал это «чрезвычай-

⁶⁹ Dean J. A Memoir of the Rev. Nathaniel Ward, A. M. Albany (N.Y.), 1868 (reprint: 2009). P. 78.

⁷⁰ Winthrop Papers. Vol. IV. P. 397–401.

ным деянием, нарушающим принятые правила, несвоевременным и могущим привести к опасным последствиям». Его аргументы сводились к тому, что этот шаг мог стать опасным прецедентом, внести раздор в ряды колонистов, а также иметь печальные последствия, если о нем узнает д'Ольнэ и «решил воспользоваться нашим разделением». «Разве не более безопасно, более справедливо и более достойно для нас <...> если Провидение дает нам возможности спасти попавшего в бедственное положение соседа, ослабить опасного врага, без нашего прямого участия или расходов», – писал Уинтроп далее. В подтверждение своей позиции он ссылаясь на слова из Притчей Соломоновых: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силах сделать это» [Притч. 3:27]. Наш «бедствующий сосед просит нашей помощи; Божественное Провидение и его собственное хорошее мнение о нашем милосердии привело его к нам <...> неужели в этом случае мы должны разбираться, где справедливость в столкновении между ними?» – писал Уинтроп. От нас требуется «не более, чем это сделал бы любой человек, если он видит у своих ног соседа, над которым нависла смертельная угроза – он сначала спасет его, какой бы ни была причина».

Религиозная принадлежность Ля Тура в данном случае не имеет значения, полагал Уинтроп, ибо в Писании сказано: «Если найдешь вола врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему» [Исх. 23:4]. По его мнению, моральный закон, данный человеку природой, дан ему именно как человеку вообще, а не как христианину или язычнику. «И наш Спаситель установил это, являя нам пример нашего Небесного Отца, который заставил солнце сиять над справедливым и несправедливым <...> и приказал нам следовать его примеру». Уинтроп напирал на то, что д'Ольнэ потенциально опасен для Новой Англии: «Я показал в моем предыдущем письме, как д'Ольнэ обращался с нами и нашими соседями, когда он был слаб, какими принципами он руководствовался и какие претензии он к нам предъявлял; и вся история учит нас, что амбиции и алчность завоевателей и грабителей всегда возрастают по мере роста их мощи. И следует ли нам верить в то, что д'Ольнэ станет более мирным и умеренным, имея 200 солдат и получая ежегодно 4 или 5 тыс. ливров дохода. Вот латинская пословица – *res nostra agitur, paries cum proximus ardet*⁷¹». Уинтроп утверждал также, что «это обычная практика для государств Европы – вмешиваться в ссоры соседних государств...» В то же время губернатор подчеркивал, что власти Массачусетса «никому не давали разрешения вести войну против д'Ольнэ, но дали только разрешение, тем, кто этого хочет, наниматься на службу к Ля Туру, чтобы сопроводить его до его собственного дома (*to conduct him to his own place*). И такое разрешение, как это <...> не объявление войны, не враждебный акт, а всего лишь свобода торговли, и если за этим последует какое-либо кровопролитие – это будет случайностью, не зависящей от этого. Это не рассматривается как объявление войны или как нарушение мира между цивилизованными государствами».

Уинтроп подчеркивал «большое различие между выдачей разрешения вести боевые действия и позволением наниматься для охраны или транспортировки». Последнее, по его словам, являлось нормальной практикой: «Сколько англичан, шотландцев и ирландцев служили Нидерландам против испанцев и испанцам против Нидерландов; шведам против императора, и наоборот, – без всякого нарушения мира между этими нациями». Поэтому такое деяние «позволительно частным лицам и владельцам кораблей; мы считаем это выгодным для нашей колонии». В ответ на предложение авторов «Ипсуичского письма» предложить д'Ольнэ вступить в переговоры Уинтроп утверждал, что данный случай не соответствует требованию Священного Писания: «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир» [Втор 20:10], поскольку с д'Ольнэ никто не собирался воевать. В заключение губернатор констатировал, что положения «Ипсуичского письма» были «основаны на оши-

⁷¹ «Твой в опасности дом, стена коль горит у соседа» – цитата из 18-го послания Горация «К Лоллию» (русский перевод Н. Гинцбурга). См.: *Квинт Гораций Флакк*. Оды, эподы, сатиры, послания. М., 1970. С. 359.

бочных суждениях». Правительство Массачусетса, по его словам, «не ограничивает свободу людей»; что же касалось возможной опасности, то следовало руководствоваться словами апостола Петра о том, что нужно делать добро и не смущаться никакого страха [1 Петр 3:6]. Уинтроп утверждал, что Новая Англия находится под защитой Провидения, поскольку пережила множество потрясений, но «Господь всякий раз спасал нас от катастроф, потрясений, бурь, заговоров, индейцев и проч. — так неужели мы испугаемся одного д'Ольнэ», — вопрошал он, и заключал: «Страхи людей заводят их в ловушку, но тот, кто уповает на Господа, будет спасен».⁷²

30 июня/10 июля Ля Тур заключил сделку с Гиббонсом и Хокинсом, которые брали на себя обязательство предоставить ему четыре судна с 50 матросами и 38 пушками сроком на два месяца. Сумма сделки составила 940 ф. с., залогом являлся форт Ля Тура со всем находившимся там имуществом.⁷³ Кроме того, Ля Тур лично завербовал еще 15 матросов и 68 солдат, которым он пообещал платить по 40 шиллингов в месяц.⁷⁴ 14/24 июля Ля Тур покинул Бостон, располагая весьма внушительными по колониальным меркам силами. Вместе с людьми и артиллерией, находившимися на «Сан-Клемане», у него было в общей сложности 50 орудий и около 270 бойцов. Вместе с ним отправился Томас Хокинс, командовавший новоанглийскими наемниками. Это событие можно рассматривать как поворотный момент в политике Массачусетса по отношению к Акадии и к своим французским соседям вообще. Если до того речь шла только о торговых операциях и частной инициативе, то теперь бостонские власти, хотя и в завуалированном виде, санкционировали применение силы. По мнению Дж. Равлыка, Гиббонс, Хокинс и Уинтроп-младший рассматривали экспедицию к форту Ля Тура одновременно как коммерческое предприятие и экспансионистскую акцию, и в этом с ними было солидарно большинство руководителей Массачусетса. Цель всей акции состояла в том, чтобы превратить территорию соседней французской колонии в «сферу влияния, открытую не только для коммерческой эксплуатации, но и для политического проникновения» со стороны Новой Англии.⁷⁵

26 июля/5 августа корабли Ля Тура и Хокинса появились у устья реки Сент-Джон. Д'Ольнэ не рискнул вступить с ними в бой и ретировался в Пор-Руайяль — свой главный опорный пункт. Форт Ля Тура был деблокирован без единого выстрела. Таким образом, условия соглашения были выполнены и официально декларируемая цель операции достигнута. Однако Ля Тур и Хокинс на этом не остановились, а взяли курс на Пор-Руайяль. Они попытались вступить в переговоры с д'Ольнэ, однако тот заявил, что не будет иметь дела с Ля Туром, поскольку тот не имел никаких официальных полномочий и подлежал аресту. Оригинал приказа об аресте был предъявлен англичанам. В этой ситуации Хокинс заявил, что его люди и корабли не будут участвовать в боевых действиях. Без их помощи взять хорошо укрепленный форт было затруднительно, и Ля Тур ограничился разорением его окрестностей. На берег высадилось около 60 человек (30 французов и 30 англичан, завербованных лично Ля Туром), которые разграбили и сожгли несколько построек, но затем были атакованы людьми д'Ольнэ и вернулись на свои корабли. Ля Тур вместе со всей флотилией отправился в свой форт и по пути захватил принадлежавшее д'Ольнэ судно с большим грузом пушнины, шедшее в Пор-Руайяль из фактории на Пенобскоте. Это позволило ему расплатиться со своими наемниками, после чего те вернулись в Бостон.

⁷² Winthrop Papers. Vol. IV. P. 402–410.

⁷³ Текст соглашения см.: *Couillard-Després A.* Charles de Saint-Étienne de La Tour gouverneur, lieutenant-général en Acadie, et son temps: 1593–1666. Arthabaska, 1930. P. 481–483.

⁷⁴ *Parkman F.* France and England in North America. N. Y., 1983. Vol. 1. P. 1088.

⁷⁵ *Rawlyk G. A.* Nova Scotia's Massachusetts. P. 10–11.

— В результате этой операции осада с форта Ля Тура была снята и он получил возможность продолжать свою деятельность. Но ему не удалось нанести решающего поражения д'Ольнэ, который сохранил контроль над Пор-Руайялем и другими своими фортами. Ля Туру было совершенно очевидно, что его противник постарается представить случившееся в максимально выгодном для себя и невыгодном для него свете и тогда его контакты с англичанами могут обернуться для него большими неприятностями. Со своей стороны Гиббонс, Хокинс и Уинтроп-младший были довольны исходом экспедиции, в результате которой они, казалось, обеспечили себе бесперебойный доступ к пушным ресурсам Акадии, а Ля Тур, который не мог с ними сразу расплатиться, превращался, по сути, в зависимого от них агента. Губернатор Уинтроп был более сдержан в оценках. Он отмечал в своем «Журнале», что отчет о действиях англичан в Акадии был для него «неприятным и скорбным». ⁷⁶ Очевидно, наибольшую тревогу у него вызвал факт появления английских кораблей возле Пор-Руайяля. Это была явно недружественная акция по отношению к д'Ольнэ, которая никак не согласовывалась с теми «правилами милосердия» и правилами «государственного управления», о которых так пекся Уинтроп. Всё это могло быть использовано политическими противниками губернатора в борьбе против него.

После бурных событий августа 1643 г. в Акадии снова наступило затишье. Ля Тур торговал с англичанами и через свою жену Франсуазу-Мари пытался получить поддержку из Франции. На сей раз это ему не удалось. Тем временем д'Ольнэ отправился в метрополию и вернулся в Акадию с подкреплением и новым приказом об аресте Ля Тура. Тому ничего не оставалось делать, как снова отправиться в Бостон умолять о помощи. Но если год назад Ля Тур называл себя французским наместником и губернатором, то теперь он вспомнил о своих контактах с Уильямом Александером и объявил, что сам является баронетом Новой Шотландии, а его форт расположен на землях шотландской короны. ⁷⁷ Это заявление не произвело никакого впечатления на нового губернатора Массачусетса Джона Эндикотта, сдержанное отношение которого к Ля Туру было хорошо известно. Созванные Эндикоттом уполномоченные Конфедерации Новой Англии также решили ничего не предпринимать для оказания помощи Ля Туру, который 9 сентября был вынужден покинуть Бостон, удостоившись торжественных проводов. ⁷⁸

В конце лета 1644 г. власти Массачусетса начали зондировать почву для соглашения с д'Ольнэ. Понимая, что тот может предъявить им претензии по поводу участия английских колонистов в событиях августа 1643 г., бостонские власти решили выдвинуть «встречный иск». В письме, направленном ими в Пор-Руайяль, говорилось об ущербе, который д'Ольнэ нанес англичанам в 1635 г., напав на факторию на Пенобскоте, и выражался протест по поводу заявления о том, что его люди будут нападать на все английские суда, которые появятся севернее этой реки. Вместе с тем руководители Новой Англии писали, что «хотя наши люди, которые в прошлом году отправились на помощь Ля Туру, делали это без всяких официальных полномочий от нас, если будет доказано, что они нанесли какой-либо ущерб, о котором мы даже не знали, мы восстановим справедливость». К письму была приложена копия изданного незадолго до этого приказа губернатора и совета Массачусетса, запрещающего жителям колонии чинить насилие по отношению к французам и голландцам, за исключением тех случаев, когда это было необходимо в целях самообороны. ⁷⁹

Д'Ольнэ решил воспользоваться моментом и заключить с Новой Англией договор, гарантировавший ее невмешательство в акадийские дела. В начале октября 1644 г. предста-

⁷⁶ Winthrop's Journal. Vol. 2. P. 136

⁷⁷ Ibid. P. 181–182.

⁷⁸ Ibid. P. 194.

⁷⁹ Ibid. P. 182–183.

витель д'Ольнэ монах-капуцин отец Франсуа Мари провел в Бостоне переговоры с Эндикоттом. В ответ на претензии по поводу помощи, оказанной англичанами Ля Туру, губернатор заявил, что тому помогали частные лица, к действиям которых власти Массачусетса не имели никакого отношения. Что же касалось этих частных лиц, то они были введены в заблуждение Ля Туром, утверждавшим, что он является губернатором Акадии. Удовлетворившись этим объяснением, 8/18 октября Мари заключил с властями Массачусетса договор следующего содержания: «Губернатор и остальные магистраты обещают господину Мари, что они и все англичане в пределах юрисдикции вышеупомянутого Массачусетса будут соблюдать и сохранять прочный мир с г-ном д'Ольнэ и всеми французами, находящимися под его управлением в Акадии, и также названный господин Мари обещает от имени господина д'Ольнэ, что тот и все его люди будут также сохранять прочный мир с вышеупомянутым губернатором и магистратами и со всеми жителями находящимися в юрисдикции вышеупомянутого Массачусетса и что для всех людей – и французов, и англичан – будет законным торговать друг с другом; и если произойдет какое-либо нарушение, потерпевшая сторона сначала подаст соответствующую жалобу и будет предпринимать какие-либо действия против другой во враждебной манере, только если не получит должного удовлетворения...». ⁸⁰

Несмотря на подписанное соглашение, бостонские власти не мешали продолжению контактов Ля Тура с торговцами из Новой Англии. В декабре 1644 г. Ля Тур через посредничество своей жены получил из Бостона большую партию товаров, включая оружие и боеприпасы. Когда в начале 1645 г. д'Ольнэ снова осадил форт Ля Тура, тот в очередной раз отправился в столицу Массачусетса, надеясь на помощь своих компаньонов. Он добился отправки в свой форт судна некоего капитана Графтона с продовольствием, порохом и свинцом, однако оно было перехвачено д'Ольнэ. Возмущенный тем, что колонисты Новой Англии продолжали помогать его врагу, д'Ольнэ объявил, что считает судно своим призом. Вся команда во главе с капитаном была арестована и высажена на небольшом островке неподалеку от ставки д'Ольнэ. Англичан продержали там 10 дней, после чего посадили на баркас, снабдили продовольствием и отпустили восвояси. Они благополучно добрались до Бостона и доложили администрации Массачусетса о ситуации в Акадии и о своих злоключениях, утверждая при этом, что, отпуская их, д'Ольнэ умышленно не дал им ни компаса, ни ружья, так как «хотел их гибели». 3/13 апреля 1645 г. в Бостоне состоялось заседание Совета (*General Court*), на котором обсуждался вопрос о том, какие законные действия можно предпринять, чтобы помочь Ля Туру и не допустить перехода его форта к д'Ольнэ. Была рассмотрена также жалоба Графтона и его компаньонов по поводу захвата их судна и товаров.

Принятые на этом заседании решения свидетельствуют о том, что власти Массачусетса во главе с вернувшимся на пост губернатора Дж. Уинтропом, несмотря на все свои симпатии к Ля Туру и заинтересованность в ослаблении д'Ольнэ, не хотели открыто вмешиваться в происходивший в Акадии конфликт, а были заинтересованы прежде всего в защите своих торговых интересов и обеспечении собственной безопасности. В тот момент, когда положение Ля Тура стало критическим, они ограничились лишь посланием к д'Ольнэ, в котором выражали свое возмущение по поводу захвата английского корабля и требовали или вернуть судно и груз, или возместить убыток деньгами. Уинтроп и его коллеги беззастенчиво ссылались при этом на недавно заключенный договор о мире и упрекали д'Ольнэ в его нарушении. ⁸¹

В середине апреля 1645 г. д'Ольнэ овладел наконец фортом своего соперника, который в это время находился в Бостоне. В сентябре 1646 г., после продолжавшегося больше года

⁸⁰ Hutchinson Th. The History of Massachusetts. Boston, 1795. T. I. P. 125–126.

⁸¹ Winthrop's Journal. Vol. 2. P. 225–226.

обмена письмами со взаимными упреками и претензиями, властям Массачусетса удалось достичь компромисса с д'Ольнэ. Между ними было заключено соглашение, схожее с подписанным двумя годами раньше. Бостонские власти отделались символической компенсацией в виде богато украшенного портшеза, который был отправлен в подарок д'Ольнэ. Этот портшез принадлежал раньше вице-королю Новой Испании, был захвачен английскими корсарами в Вест-Индии, привезен в Бостон и подарен Дж. Уинтропу. Это был явный дипломатический успех Массачусетса, поскольку изначально д'Ольнэ настаивал на возмещении убытков на восемь тысяч фунтов, а портшез стоил не больше пятидесяти фунтов.⁸²

Купцы из Массачусетса могли свободно вести свои дела в Акадии, но только с французами; торговля с индейцами, проживавшими в пределах ее территории, была запрещена. Когда в 1647 г. д'Ольнэ захватил судно торговцев из Бостона, занимавшихся скупкой пушнины у микмаков в районе мыса Сейбл, и эти торговцы обратились с жалобой к властям Массачусетса, Совет вынес по этому поводу следующее решение: «совет полагает небезопасным и нецелесообразным для нас начинать войну с французами; также нам не стоит направлять какой-либо протест д'Ольнэ, поскольку мы ранее говорили ему, что если наши люди торгуют в пределах его владений, они делают это на свой страх и риск». И «кроме того, в этом обнаруживается всемогущее Провидение, поскольку иначе он не мог бы захватить столь хорошо снаряженное судно, а мудрые люди не потеряли бы его столь глупо...».⁸³ Очевидно, что власти Массачусетса были заинтересованы в поддержании отношений с д'Ольнэ в духе соглашений 1644 и 1646 гг. Что касается Ля Тура, то на протяжении нескольких месяцев после захвата его форта он предпринимал отчаянные попытки добиться хоть какой-то поддержки от властей Массачусетса, но те, обсудив его «плачевное состояние», пришли к выводу, что Ля Тур им больше не нужен. Около года Ля Тур провел в английских колониях, пытаясь заниматься пушным бизнесом, а затем вернулся на французскую службу. После смерти д'Ольнэ он женился на его вдове, на некоторое время снова стал губернатором Акадии, после чего опять переметнулся к англичанам.

Междоусобица в Акадии стала достаточно серьезным вызовом для Массачусетса. Развернувшиеся в колонии дебаты об отношении к конфликту Ля Тура и д'Ольнэ заставили ее обитателей впервые формулировать свою позицию по вопросу, касавшемуся отношений с подданными другой державы. Нельзя сказать, что жители «Града на холме» были втянуты в конфликт, происходивший в соседней французской колонии, против своей воли. События середины 1630-х гг. показали, что в том случае, когда Массачусетсу было невыгодно совершать какие-либо внешнеполитические акции, он никак не реагировал на то, что происходило на его границах, придерживаясь изоляционистских установок. В первой же половине 1640-х гг. бостонцы явно проявили склонность к поддержке одной из сторон конфликта, происходившего на чужой территории. Вместе с тем этот интерес был далеко не всеобщим и он далеко не полностью совпадал с теми задачами, которые пытался решить Ля Тур, обращаясь к властям Массачусетса.

Дж. Уинтроп объяснял свои действия прежде всего соображениями морали, утверждая, что он из милосердия оказывает помощь попавшему в беду соседу, но признавая при этом, что его позиция объективно отвечала не только духовным, но и материальным интересам Массачусетса. Не следует забывать и тот факт, что среди людей Ля Тура было немало гугенотов, а он сам постоянно демонстрировал свой интерес и уважение к протестантизму. Мнения исследователей относительно того, чем была обусловлена позиция, занятая Уинтропом летом 1643 г., расходятся. Э. Баффинтон делает упор на политический аспект, подчерки-

⁸² Ibid. P. 284–286.

⁸³ Ibid. P. 309.

вая, что главная задача Уинтропа состояла в том, чтобы «сохранить баланс сил в Акадии».⁸⁴ Дж. Т. Адамс называет поведение губернатора Массачусетса «скромным вкладом в дипломатию доллара», подчеркивая, что он руководствовался прежде всего экономическими интересами.⁸⁵ В этом же духе высказывался Г. Л. Осгуд, признававший, что, несмотря на то, что в Бостоне прекрасно понимали всю деликатность сложившейся в Акадии ситуации, стремление «получить выгоду от флибустьерской экспедиции в Восточные края» оказалось сильнее.⁸⁶ О том, что в 1644 г. Уинтроп «ввязался в коммерческое предприятие, которое вовлекло его в происходивший в то время конфликт между соперничавшими французскими губернаторами Акадии», писал Дж. Г. Рейд.⁸⁷

Представляется, что поведение администрации Массачусетса по отношению к событиям в Акадии определялось несколькими факторами политического, экономического, идеологического и гуманитарного свойства. Большую роль играло стремление Уинтропа и группы связанных с ним дельцов к экономическому проникновению в Акадию, а также к получению дивидендов от торговли с Ля Туром. Против этого в Массачусетсе, да и во всей Новой Англии не возражал никто. Однако как только встал вопрос о более активном участии представителей английских колоний в поддержке Ля Тура, настроения резко изменились. Уинтропу пришлось столкнуться с серьезной оппозицией, что, с нашей точки зрения, было вызвано прежде всего тем, что жители Новой Англии не желали подвергать себя риску и осложнять отношения с д'Ольнэ, тем более в условиях, когда в старой Англии положение парламента, сторону которого они держали, было весьма сложным. Таким образом, соображения безопасности перевесили стремление к достижению экономической и политической выгоды. Хотя Уинтроп и его окружение были не прочь поддержать равновесие сил в Акадии и сохранить такого важного партнера, как Ля Тур, было ясно, что большинство жителей Массачусетса и, тем более, всей Новой Англии не поддержит силовые акции, которые могли иметь нежелательные последствия. В то же время события середины 1640-х гг. показали рост заинтересованности Массачусетса в расширении сферы своего экономического и политического влияния за счет соседних французских владений. В Бостоне внимательно следили за развитием ситуации в Акадии и пытались воздействовать на нее в своих интересах в том случае, если не опасались за последствия. Таким образом, можно сделать вывод, что, совершая свои самые первые шаги на внешнеполитической арене, Массачусетс прежде всего стремился к продвижению своих интересов, максимально избегая любого риска.

⁸⁴ Buffinton A. H. The Isolation Policy of Colonial Massachusetts // *New England Quarterly*. 1928. Vol. I. № 2 (April). P. 168.

⁸⁵ Adams J. T. *The Founding of New England*. Boston, 1921. P. 232.

⁸⁶ Osgood H. L. *The American Colonies in the Seventeenth Century*. N. Y.-London, 1904. Vol. I. P. 411.

⁸⁷ Reid J. G. *The Conquest of "Nova Scotia": Cartographic Imperialism and the Echoes of a Scottish Past* // *Nation and Province in the First British Empire: Scotland and the Americas, 1600–1800* / Ed. by N. C. Landsman. Lewisburg, Pa., 2001. P. 45.

С. А. Исаев. Ограничение срока действия законов временем жизни одного поколения в полемике Т. Джефферсона – Дж. Мэдисона. 1789–1790 гг

Для Александра Александровича Фурсенко Джефферсон и Мэдисон были двумя наиболее совершенными воплощениями американской политической мудрости. А. А. Фурсенко всегда восхищался Томасом Джефферсоном: его разносторонними талантами, блеском литературного стиля, умением налаживать отношения с самыми разными людьми, пикантным сочетанием радикальных мыслей с предельно прагматическим поведением. Не случайно А. А. Фурсенко держал большой портрет Т. Джефферсона на видном месте в своем рабочем кабинете в Санкт-Петербургском научном центре РАН.

Его отношение к Мэдисону было более сложным. Значимость Мэдисона для американцев А. А. Фурсенко смог оценить, только побывав в США. И даже после изучения многих документов и книг, после долгих бесед с Бернардом Бейлином Мэдисон оставался для Александра Александровича личностью притягательной, но загадочной. Каким образом этот внешне неказистый, часто болевший человек, учившийся в Йельском колледже всего два года, никогда не бывавший в Европе, смог предложить для своей страны политическое устройство, пережившее его на многие десятилетия? Стремясь дать мало-мальски обстоятельный ответ на этот вопрос, я написал политическую биографию Мэдисона, изданную в 2006 г. За бесценный исследовательский опыт, обретенный в процессе работы над этой книгой, и за содействие ее изданию, без которого оно бы не состоялось, я всегда буду признателен Александру Александровичу Фурсенко.

* * *

Политические дискуссии сопровождали весь процесс формирования федерального уровня власти в США. Конституция США вырабатывалась в ходе дебатов на заседаниях Конституционного конвента, который работал в Филадельфии с 25 мая по 17 сентября 1787 г. Дебаты эти велись за закрытыми дверями, и опубликованы их материалы были только в 1840 г. Когда текст Конституции был в сентябре 1787 г. отослан в штаты для ратификации, по всей стране развернулись – на страницах газет и в заседаниях ратификационных конвенгов, созываемых в штатах, – уже публичные дебаты между сторонниками и противниками ее ратификации: федералистами и антифедералистами. Самый известный памятник, оставшийся от этих дебатов, – сборник «Федералист», составленный из 85 статей с аргументацией в пользу ратификации Конституции, которые были написаны Джеймсом Мэдисоном, Александром Гамильтоном и Джоном Джеймсом в 1787–1788 гг.

Конституция была ратифицирована и вступила в силу на территории 9 штатов 21 июня 1788 г.; Виргиния присоединилась к ним 26 июня, а Нью-Йорк – 26 июля 1788 г. Осенью того же года состоялись выборы первого президента и первого состава Палаты представителей Конгресса США. Впрочем, два последних штата ратифицировали Конституцию уже после выборов и даже после начала работы первого Конгресса: Северная Каролина 21 ноября 1789 г., а Род-Айленд – 29 мая 1790 г. Однако у американцев – в особенности у антифедералистов – не было ощущения, что реформа государственного устройства завершена и пора сосредотачивать внимание на текущих делах. 8 июня 1789 г. Палата представителей начала обсуждать пакет из 12 предложенных поправок к Конституции. 15 декабря 1791 г. десять из них стали частью Основного закона США. Эти первые поправки к Конституции (I–X) обычно называют Биллем о правах.

Частью этого последнего тура конституционных дебатов можно считать эпистолярную полемику, которую вели два «отца-основателя» США: Томас Джефферсон, основной автор Декларации независимости, и Джеймс Мэдисон, основной автор Конституции. Оба были искренними приверженцами демократии, то есть стремились создать в США такое государство, в котором всякая власть исходила бы от народа, а значит, не была бы ни авторитарной, ни наследственной. Они были политическими соратниками на протяжении многих лет. В 1801–1809 гг. Джефферсон был президентом США, Мэдисон – государственным секретарем в его правительстве, а в 1808 г. он был избран следующим президентом. Разница между мировоззрениями Джефферсона и Мэдисона была, тем не менее, серьезной, и в 1789–1790 гг. она проявилась в разном отношении к только что осуществленной конституционной реформе и к перспективе дальнейших изменений политико-правового устройства страны.

Джефферсон с 1785 г. был посланником США во Франции и в сентябре 1789 г. завершал свою миссию в Париже. Явно под впечатлением от событий начального, «конституционного» периода Французской революции в письме от 6 сентября 1789 г. он предложил внести принципиальные изменения в конституционное устройство США. Мэдисон, избранный от штата Виргиния в первый состав Палаты представителей, незадолго до того сам предложил Палате принять поправки будущего Билля о правах. Джефферсон, по-видимому, надеялся, что через Мэдисона же могут обрести юридическую форму и его инициативы. Но Мэдисон не дал предложениям Джефферсона ходу. Вместо этого он взял на себя труд критического анализа этих инициатив и обстоятельно разъяснил своему другу, почему предлагаемые им новации ничего, кроме вреда, не принесут.

Письмо Джефферсона Мэдисону должно было пересечь Атлантический океан, чтобы дойти до адресата. Этот путь письмо проделало... в багаже самого автора. 26 сентября 1789 г. Сенат США по предложению президента Дж. Вашингтона утвердил Джефферсона в должности государственного секретаря. В тот же день он выехал из Парижа и вскоре через порт Гавр покинул Францию – как оказалось, навсегда. Джефферсон еще не знал о своем назначении в Государственный департамент и не давал согласия на него, а лишь воспользовался полученным отпуском. До отъезда он не успел отправить письмо и взял его с собой. 28 ноября 1789 г. Джефферсон прибыл в виргинский порт Норфолк.⁸⁸ Он испытывал серьезные сомнения, принимать ли назначение на высокую должность. В конце декабря Мэдисон посетил его в Монтчелло и уговаривал согласиться. Несколько дней спустя, 9 января 1790 г., Джефферсон из Монтчелло направил Мэдисону в Нью-Йорк краткое деловое письмо и приложил к нему объемистое парижское.⁸⁹

Историки присвоили этому письму Джефферсона заголовок «Земля принадлежит живым» («*The earth belonging to the living*»), под которым оно обычно упоминается в литературе.⁹⁰ Значительный объем письма, обилие статистических выкладок, которые не произвели впечатления на адресата и никак не фигурировали в его возражениях, заставляют ограничиться переводом частей, содержащих ключевые тезисы Джефферсона.⁹¹

«Париж, 6 сентября 1789 г.

Дорогой сэр! Сажусь, чтобы написать Вам, не зная, с какой оказией отошлю я мое письмо. Я делаю это, потому что мне в голову пришел такой предмет <размышлений>, кото-

⁸⁸ Malone D. Jefferson and his time. Vol. II. Boston, 1951. P. 242–244.

⁸⁹ The Republic of Letters: The Correspondence between Thomas Jefferson and James Madison. 1776–1826 / Ed. by J. M. Smith. N. Y., 1995. Vol. I. P. 648.

⁹⁰ The Papers of Thomas Jefferson. Julian P. Boyd, Editor. Vol. XV. Princeton, N. J., 1958. P. 384–391.

⁹¹ В черновиках этого письма сохранились вычисления Джефферсона, из которых видно, что первоначально он определил длительность существования поколения не в 19 лет, а в 34 года.

рый я хотел бы развить несколько более, чем это возможно в той спешке, в какой составляются обыкновенные депеши.

Вопрос: Имеет ли одно поколение людей право связывать <обязательствами> другое, кажется, никогда не ставился ни по эту, ни по нашу сторону океана. Однако это вопрос, чреватый такими последствиями, что он не только заслуживает ответа, но и должен быть помещен среди фундаментальных принципов всякого государства.⁹² Ход размышлений о фундаментальных принципах общества, в которые мы здесь погружены,⁹³ поставил этот вопрос в моем уме; и я думаю, что очень даже смогу доказать, что никакое такое обязательство не может быть таким образом передано.

Я исхожу из основания, которое полагаю самоочевидным: *«что узуфрукт»*⁹⁴ *земли принадлежит живущим* (*“that the earth belongs in usufruct to the living”*); что умершие не имеют ни власти над ним, ни прав на него. Доля <земли>, занимаемая любым индивидом, перестает быть его долей, когда он сам перестает жить, и возвращается обществу».

Далее Джефферсон констатирует, что фактически такая земля обычно переходит к жене, детям и иным родственникам покойного. Однако он настаивает, что такой переход происходит вследствие применения законов, выработанных и принятых обществом, а не норм естественного права. «Что верно по отношению к каждому члену общества по отдельности, то верно по отношению ко всему коллективу, ибо права целого не могут быть больше, чем сумма прав индивидов.

Чтобы прояснить нашу идею в применении ко множеству людей, предположим, что всё поколение людей рождается в один и тот же день, достигает зрелости в один и тот же день и умирает в один и тот же день, оставляя всё следующему поколению в момент, когда оно всё достигает зрелого возраста. Предположим, что зрелый возраст – это 21 год, после чего они живут еще 34 года, ибо таков средний срок, даваемый статистикой смертности лицам, которые уже достигли 21 года. Тогда каждое следующее поколение будет всходить на сцену и сходить со сцены в определенный момент, как индивиды сейчас. Теперь я говорю, что земля принадлежит каждому из этих поколений в течение его жизни полностью и на основании его собственного права. Второе поколение получает ее от первого чистой от долгов и обременений, третье от второго, и так далее. Ибо если бы первое могло обременить ее долгом, то земля принадлежала бы умершему, а не живущему поколению. Таким образом, никакое поколение не может делать займы более крупные, нежели какие могут быть выплачены на протяжении его жизни. В возрасте 21 года они могут налагать на себя и на земли обязательства на 34 следующих года, в 22 года – на 33, в 23 – на 32, а в 54 – только на год, ибо таков срок жизни, какой им остается в каждом из соответствующих возрастов».

Джефферсон констатирует: есть разница между наследованием от индивида к индивиду – и от общества/поколения к обществу/следующему поколению. При наследовании от индивида к индивиду, из-за долгов, сделанных старшим собственником, наследство может достаться не любимому и желанному наследнику, а другому человеку – тому, кто согласился заплатить долги покойного. Но в воображаемой ситуации, когда целое поколение умирает в один день, о таких вариантах не может быть и речи. Долги умерших, по мнению Джефферсона, аннулируются автоматически. Но на самом-то деле поколения рождаются, дости-

⁹² Утверждение, что одним из «фундаментальных принципов» должен быть (какой-то) *вопрос*, а не утверждение, сформулированное в *ответ* на этот вопрос, выглядит странно. Но у Джефферсона буквально так: «Yet it is a question of such consequences as not only to merit decision, but place also, among the fundamental principles of every government». По-видимому, Джефферсон имеет в виду всё-таки ответ, но позволяет себе речевую небрежность, полагаясь на понятливость адресата. Здесь я не считаю допустимым править текст.

⁹³ Речь идет о событиях Французской революции: созыве Генеральных Штатов, взятии Бастилии, подготовке Декларации прав человека и гражданина.

⁹⁴ Право пользования чужим имуществом и доходами от него (*лат.*).

гают зрелого возраста и умирают вовсе не синхронно, а очень постепенно. Джефферсона это обстоятельство не смущало. Он считал необходимой в этой связи всего одну небольшую поправку к своему построению: «Для поколений, сменяющихся в процессе каждодневных смертей и рождений, существует один средний срок, начинающийся датой вступления в брак и заканчивающийся, когда большинство тех, кто в эту дату достигнет полного возраста, умрет».

И Джефферсон высказывает уверенность, что эту странную дату можно рассчитать исходя из имеющейся статистики смертности. Ссылаясь на статистику, собранную Ж.-Л.-Л. Бюффоном, он называет сроком жизни одного такого поколения 19 лет: «Таким образом, 19 лет – это тот предельный срок, за пределы которого ни представители нации, ни даже вся нация, собравшаяся вместе, не вправе выходить, заключая заем». Если же это всё-таки сделано, то такие долги, по мнению Джефферсона, должны быть автоматически аннулированы.

И не только долги!

«На том же самом основании может быть доказано, что никакое общество не может иметь ни постоянной конституции (*a perpetual constitution*), ни даже закона с неопределенным сроком действия (*even a perpetual law*). Земля всегда принадлежит живущему поколению. Оно может распоряжаться ею и всем, что на ней произрастает, так, как ему угодно. Оно хозяин и самому себе, и может управлять собою как ему заблагорассудится. Но личности и собственность вместе составляют <полную> сумму того, чем ведает государственная власть. Конституция и законы предшественников утрачивают силу в ходе естественного процесса вместе с теми, кто их создал. Создатели могут сохранять их, покуда существуют сами, но не долее. В таком случае всякая конституция и всякий закон естественным образом утрачивают силу по истечении 19 лет. Если их сохраняют в силе дольше, это акт силы, а не права.

На это могут возразить, что всякое следующее поколение фактически уже пользуется правом отмены законов и что это право делает его <поколение> таким же свободным, как если бы в конституцию и в законы открытым текстом было внесено ограничение 19 годами. На первый взгляд это возражение правильно: оно как будто предлагает нечто эквивалентное. Но на самом деле право отмены не равноценно <ограничению действия закона по времени>. Оно было бы таковым, если бы государственное устройство было настолько совершенным, что воля большинства могла бы проявляться легко и беспрепятственно. Но это не так ни при каком устройстве. Народ <всем своим множеством> собраться не в состоянии. Представительство его неравно/несправедливо (*unequal*) и подвержено порокам. Всевозможные сдержки (*checks*) создают препятствия для всякого законодательного предложения. В государственных органах, действующих публично (*public councils*), хозяйничают клики (*factions*). Их портит взяточничество. Личные интересы побуждают их действовать вопреки общим интересам их избирателей; возникают и другие препятствия, доказывающие всякому практичному человеку, что с законом, срок действия которого ограничен, справиться гораздо легче, чем с таким, для какого требуется отмена».

Поразмышляв немного о том, какую пользу применение этого принципа могло бы принести стране пребывания – Франции, Джефферсон затем переносит внимание на родную Америку и обращается к Мэдисону: «Ваше положение в законодательных органах нашей страны дает Вам возможность предложить <изложенные идеи> для публичного рассмотрения, сделать их предметом дискуссии». Джефферсон был уверен, что это позволило бы США создать более здоровую финансовую систему, чем существующие у наций Европы.

Ответное письмо Мэдисона я привожу в своем переводе целиком.⁹⁵ Это замечательный документ. Но по содержанию он таков, что даже профессиональный лингвист, не облада-

⁹⁵ The Papers of James Madison / Ed. by Charles F. Hobson. Vol. XII. Charlottesville, 1979. P. 382–388.

Ющий знаниями историка, сколько-нибудь адекватно перевести его не может. Существуют обычные трудности перевода американских политических текстов конца XVIII в. на русский язык: они обусловлены различиями политических культур и, следовательно, политической терминологии, а также хронологическим разрывом в 200 лет. В данном же случае к ним прибавляются трудности, связанные с тем, что американская политическая терминология тогда еще не устоялась, и с тем, что речь в письме идет об изменениях политико-правового устройства США, которые обсуждались, но не были осуществлены, а значит, и не были описаны в устоявшихся английских выражениях.

«Нью-Йорк, 4 февраля 1790 г.

Дорогой сэр,

Ваше любезное письмо от 9 января, в которое было вложено письмо от сентября (6 сентября 1789 г. – *С. И.*), попало мне в руки только несколько дней назад. В этом последнем развивается важная (*a great*) идея, она может послужить законодателям основой для многих интересных размышлений, в особенности на предмет формирования и обеспечения государственного долга. Может ли она быть принята в той мере, в какой это склонны допустить Ваши рассуждения, – это вопрос, к которому мне следовало бы обратить свои мысли в большей мере, нежели я до сих пор мог. Оправданием мне будет только то, что я вырабатывал обстоятельное мнение по этому вопросу. Хотя мои первые мысли на сей счет совпали со многими Вашими, <процесс выработки развернутого мнения> привел меня к убеждению, что доктрина эта не во *всех* отношениях совместима с ходом человеческих дел. Попытаюсь описать основания моего скептицизма.

“Поскольку земля принадлежит живущим, а не умершим, всякое живущее поколение вправе связывать обязательствами только себя.

Во всяком обществе воля большинства связывает целое.

В соответствии со статистикой смертности, большинство тех, кто в любой данный момент достиг зрелости, достаточной для выражения их воли, проживет еще не более 19 лет.

В таком случае именно этим сроком ограничена юридическая сила (*validity*) *любого* закона, принимаемого обществом.

А в пределах этого ограничения никакое выражение общей воли не действительно, если оно не выражено *открытым текстом*”.⁹⁶

Насколько я понимаю, таков ход Вашей аргументации.

Законы демократического государства (*the acts of the political Society*)⁹⁷ можно разделить на три класса:

1. Основной закон политического устройства, или конституция государства (*The fundamental Constitution*⁹⁸ *of the Government*).

2. Законы, содержащие такие положения, какие делают невозможной отмену их <простым> волеизъявлением законодательного собрания.

3. Законы, не характеризующиеся таким качеством неотменяемости.

⁹⁶ Текст, заключенный в кавычки, – это выполненное Мэдисоном резюме мыслей Джефферсона, а не буквальное цитирование его слов.

⁹⁷ Как может заметить читатель, перевод этого выражения очень далек от буквального. Однако, дочитав это письмо до конца, мы не обнаружим никаких указаний на то, что размышления Мэдисона могут иметь какое-то отношение к монархическим государствам, военным или любым авторитарным диктатурам. Речь идет только о таких государствах, где властные структуры (*political Society*), обладающие исключительным правом принимать законы (*the acts*), формируются исключительно обществом (*society*). В русском политологическом языке такие государства называются демократическими. Письмо посвящено анализу проблем только таких государств.

⁹⁸ Слово «*Constitution*» здесь означает писанный основной закон штата или всей американской федерации, носящий название конституция. Но оно может означать также колониальную хартию: в 1790 г. в Род-Айленде и Коннектикуте они еще оставались основными законами этих штатов.

— Хотя к конституции Ваша доктрина в теории может быть применена, представляется, что на практике против этого есть весьма серьезные возражения. Не стало ли бы политическое устройство, столь часто пересматриваемое, слишком изменчивым, чтобы оно могло сохранять способность поддерживать существование тех предрассудков в свою пользу, какие внушает древность <политического устройства> и какие, может быть, являются средством, <полезным> для сохранения даже самых рациональных политических устройств в самый просвещенный век? Не породила ли бы практика такого периодического пересмотра опасные политические клики (*factions*), которые без нее, может быть, вообще не появились бы? In fine,⁹⁹ не будет ли власть, самое существование которой после фиксированной даты зависит от активного и легитимного вмешательства (*on some positive and authentic intervention*)¹⁰⁰ самого общества, слишком подвержена случайностям и последствиям фактического междувластия?¹⁰¹

Что касается законов 2-го класса, то представляется, что как теория, так и практика *требуют* исключения из применения этой доктрины по крайней мере следующих <сфер>:

Если земля — дар природы тем, кто на ней живет, то их право может распространяться только на землю в ее естественном состоянии. Улучшения, осуществленные теми, кто уже умер, образуют долг (*charge against*), довлеющий над теми живущими, кто пользуется этими благами. Этот долг нельзя исполнить иначе, нежели исполнив волеизъявление умерших, связанное (*accompanying*) с этими улучшениями.

Долги (*debts*) могут делаться для целей, в которых заинтересованы и еще не родившиеся, равно как и живущие: таковы займы для отражения попыток завоевания, пагубные последствия которого могут сказываться на протяжении жизни многих поколений. Некоторые займы могут быть заключены даже преимущественно для блага потомков: таков, вероятно, нынешний долг Соединенных Штатов, который далеко превосходит любое бремя, какое нынешнее поколение могло бы безбоязненно взвалить на себя ради себя (*could well apprehend for itself*). Срок в 19 лет может оказаться даже недостаточным для погашения займов во всех этих случаях.

Далее, представляется, что, когда речь идет об отношении одного поколения к другому, то в самом основании природы вещей находится *преемственность* (*descent*) обязательств между ними. Этого требует справедливость. Через это достигается взаимное благо. Единственное, что необходимо, чтобы сделать справедливым расчет между умершими и живыми, — это следить, чтобы долги, коими обязаны живущие, не превышали авансов, осуществленных умершими. Очень мало какие из обременений (*incumbrances*), возлагаемых на нации, были бы аннулированы, <если бы это делалось> на основании одного лишь этого принципа.

Возражения на доктрину применительно к 3-му классу законов будут, пожалуй, чисто практическими. Однако, как представляется, эти практические возражения будут весьма весомыми.

Если такие законы не будут сохранены в силе новыми актами, регулярно предвосхищающими конец срока их действия, — то в таком случае все права, зависящие от позитивных законов, а именно большая часть прав на собственность, оказались бы абсолютно лишенными силы; и это породило бы борьбу самого насильственного свойства между теми,

⁹⁹ Наконец (*lat.*).

¹⁰⁰ Как станет понятно из дальнейшего, речь здесь идет о таком вмешательстве, законность которого не вызывает ни у кого сомнений, так как исходит оно именно от тех (*authentic*) лиц, кто имеет право на такое вмешательство, и которое представляет собой открытый (*positive*) акт, а не скрытое или подразумеваемое молчаливое согласие.

¹⁰¹ Мэдисон близко к тексту повторяет аргументы против предложения Джефферсона регулярно созывать в штатах конвенты для исправления всевозможных нарушений разделения властей, высказанные в «Федералисте» № 49 им самим или А. Гамильтоном.

кто заинтересован в поддержании прежнего состояния собственности, и теми, кто заинтересован в том, чтобы сделать всё по-новому (*in new-modelling*). Не были бы невозможными и события вот какого рода. Воспрепятствование принятию таких законов, какие поставили бы полномочия по отмене <существующих прав собственности> ниже, чем правовая возможность отвергнуть таковую отмену, – <возможность, представляющую собой> средство защиты от угнетения, – сделало бы в таком случае¹⁰² возможность отвергнуть таковую отмену очень ненадежным средством против анархии.¹⁰³ Прибавьте к этому, что возможность события, столь опасного для прав собственности, с неизбежностью понизило бы стоимость собственности; что приближение кризиса усугубило бы этот эффект; что частое повторение периодов, когда аннулируются все обязательства, зависящие от предыдущих законов и обычаев, должно было ослабить почтение к этим обязательствам, что способствовало бы распушенности, мотивы к которой и без того слишком сильны; и что неопределенность, присущая такому положению вещей, с одной стороны, расхолодила бы все те постоянно действующие стимулы трудолюбия, какие создаются стабильными законами, а с другой стороны, дала бы несоразмерный перевес большинству над меньшей, мудрой и предприимчивой частью общества.

Я не знаю никакого иного избавления от этих обстоятельств, кроме как через принятую доктрину: что на установленные конституции и законы может быть дано молчаливое согласие (*a tacit assent*) и что такое молчаливое согласие подразумевается всюду, где не заявляется несогласие. Представляется менее непрактичным исправлять разумными действиями власти опасности, проистекающие от действия этой доктрины, нежели искать средство от трудностей, неотделимых от доктрины другой.

Нельзя ли поставить вопрос так: возможно ли полностью исключить идею молчаливого согласия, не подрывая тем самым основания гражданского общества?

На основании какого принципа голос большинства связывает меньшинство? Я полагаю, что не на основании закона природы, но лишь вследствие договора (*compact*), основанного на удобстве. Основной закон может потребовать и большей пропорции (например, двух третей или пяти шестых. – *С. И.*), если это будет сочтено желательным. А еще до установления этого принципа требовалось *единогласие*; и во все времена строгая теория предполагала согласие каждого члена общества на учреждение политической власти как таковой. Если такое согласие не может быть дано молчаливо или если оно не подразумевается там, где на то нет никакого явного запрета (*where no positive evidence forbids*), то лица, рожденные в каком-либо обществе, не были бы связаны по достижении зрелого возраста законами, какие принимает большинство; и тогда было бы необходимо или повторение всеми в один голос каждого закона при принятии новых членов, или же от них следовало бы добиваться ясно выраженного согласия на правило, согласно которому голос большинства становится голосом целого.

Если наблюдения, какие я осмелился высказать, не являются ошибочными, то получается, что ограничение действия законов нации рассчитанным сроком жизни нации в одних

¹⁰² То есть если бы принципы Джефферсона были приняты.

¹⁰³ Приведу этот пассаж полностью: «*The obstacles to the passage of laws which render a power to repeal inferior to an opportunity of rejecting, as a security against oppression, would here render an opportunity of rejecting an insecure provision against anarchy*». Перевести это трудно. Ведь Мэдисон обсуждает чисто гипотетическую ситуацию, так что даже доскональное знание американских реалий не гарантирует нам точного понимания его соображений. В правовой системе США право собственности, которым обладало с какого-то момента физическое или юридическое лицо, обычно не ограничивается никаким сроком, а существует неопределенно долго. Но это право может быть аннулировано более поздним правовым актом, например сделкой купли-продажи. Применительно к такой реальной ситуации, наверное, можно сказать, что более поздний акт «выше» более раннего. По-видимому, Мэдисон предполагал, что установление для всех законов предельного 19-летнего срока действия упразднило бы такую «естественную» вертикаль и что законодатели попытались бы встроить принимаемые ими законы в вертикаль новую, искусственно создаваемую.

отношениях не требуется теорией, в других — не может быть применено на практике. Эти наблюдения не означают, однако, будто принцип этот не может быть полезен в некоторых особенных случаях или будто он вообще лишен значения в глазах законодателя-философа. Напротив, мне доставило бы особенное удовольствие видеть, как он впервые провозглашается в заседаниях законодателей Соединенных Штатов и что они всегда имеют его в виду как спасительную узду (*curb*), мешающую живущему поколению налагать несправедливые или неразумные бремена на наследников. Однако я мало надеюсь насладиться таким удовольствием. Дух законотворчества на основании философии (*philosophical legislation*) в некоторые части Союза¹⁰⁴ не проникал никогда, и здесь он никоим образом не в моде ни в Конгрессе, ни вне его (*without Congress*). Те пагубные последствия, какие пришлось претерпеть вследствие слабости власти и распушенности народа и каких боялись, привлекли внимание в большей мере к средствам усиления первой <то есть власти>, нежели к сужению ее полномочий (*of narrowing its extent*), — <и это даже> в умонастроении последнего <то есть народа>. А кроме того, увидеть небольшие трудности, непосредственно связанные с любым великим планом, настолько легче, чем понять его отдаленные благие последствия для всех, что нашему полушарию всё еще нужно стать более просвещенным, прежде нежели многие из тонких истин (*many of the sublime truths*), видимых благодаря философии, станут видны и невооруженному глазу обыкновенного политика. Сейчас мне нечего к этому прибавить, кроме того, что я остаюсь всегда самым искренним образом Ваш Джеймс Мэдисон мл.»

* * *

В дальнейшей переписке двух политиков эти предложения Джефферсона более не обсуждались и даже не упоминались. Эта полемика бегло упоминается практически во всех их биографиях и в обзорах истории американской политической мысли. Наиболее обстоятельный анализ, как представляется, содержится в известной монографии Адриенны Кох, где этой дискуссии посвящена целая (4-я) глава.¹⁰⁵ Тем не менее эта полемика бросает на процесс становления американской демократии дополнительный и весьма своеобразный свет. Речь в ней идет о том, какой американская демократия *не стала*. Письмо Мэдисона — лучшее свидетельство того, *почему* она такой не стала. Тема переписки Джефферсона — Мэдисона — парадоксы теории демократии, ставшие очевидными после того, как демократия в США, казалось, победила. Даже народ, полностью избавившийся от монархии, диктатуры или иной авторитарной власти, не может обладать реальной свободой принимать какие угодно политические решения. Всомогущество демократии — идея внутренне противоречивая.

В демократических государствах законы принимаются законодательными собраниями, избираемыми на ограниченный срок. Если собрание данного созыва примет законы или другие решения, которые придется выполнять собраниям последующих созывов, то тем самым оно ограничит демократическую правоспособность собраний последующих созывов. Если лишить собрание данного созыва права принимать такие законы, то демократия окажется ограниченной для законодателей сегодняшнего дня. Можно спасти чистоту демократической догмы, если признать за каждым составом законодательного собрания одинаковую и полную свободу действий, включая право пересматривать любые акты, принятые предыдущими составами. Именно это было сделано в некоторых штатах США в период Конфедерации 1776–1788 гг. Результатом были удручающая нестабильность законов и расстройство деловой жизни. Легислатура штата Род-Айленд особенно славилась такими переменчивыми

¹⁰⁴ То есть США.

¹⁰⁵ Koch A. Jefferson and Madison: The Great Collaboration. N. Y., 1950. P. 62–96.

решениями. В «Федералисте» № 62 Мэдисон заявлял: «Можно с полным на то основанием утверждать, что причиною немалой доли нынешних трудностей (*embarrassments*), переживаемых Америкой, являются грубые промахи (*blunders*) наших законодателей; и что виноваты скорее их головы, чем сердца. Что представляют собой все эти законы, наполняющие многие тома и составляющие наш позор, когда едва ли не каждый из них отменяет, объясняет или вносит поправку в другой, — если не многочисленные памятники недостатку мудрости? Что такое все эти бесчисленные обвинения, звучащие на каждой новой сессии в адрес сессии предыдущей?»

Джефферсон и Мэдисон спорили только о том, какой способ ограничения демократии предпочтительнее. Джефферсон питал симпатии к такой модели демократии, в которой законы ограничены по времени действия и не отличаются стабильностью, зато постоянно приводятся в соответствие с меняющимися пожеланиями, потребностями и даже капризами избирателей. В США такая модель привела в начале 1787 г. к полному параличу центральной власти. Но, похоже, события Французской революции породили у Джефферсона надежду, что во Франции эксперимент с такой демократией может оказаться более успешным. Есть свидетельства, что вскоре после королевского указа о созыве Генеральных Штатов (24 января 1789 г.) Джефферсон пытался убедить Лафайета внести положение относительно «прав поколений» в будущую Декларацию прав человека и гражданина. (Первый проект Декларации — без этого положения — Лафайет представил Учредительному собранию 11 июля.)¹⁰⁶ Мэдисон же защищал такую модель демократии, в которой законы стабильны и сохраняются в силе, пока ясно выраженная и правильно оформленная воля законодателей не внесет в них необходимых изменений. Однако в такой модели в процессе законотворчества соблюдаются разнообразные ограничения, налагаемые на действия законодателей ранее принятыми законами, базовыми ценностями общества, национальными интересами и просто здравым смыслом. Конституция США создала именно такую модель.

В советское время существовало идеологическое клише, в соответствии с которым Джефферсона относили к «радикальному», а Мэдисона — к «умеренному» или «консервативному» крылу борцов за независимость США.¹⁰⁷ Одним из оснований для таких характеристик была ориентация Джефферсона на текучесть, а Мэдисона — на стабильность принимаемых в США законов. Впрочем, во времена Джефферсона американские законодатели в ответственных ситуациях сами придерживались тех ограничений, на которых он настаивал, и их мотивом была осторожность, а вовсе не радикализм. Так было при первых попытках создать в США единую банковскую систему. I Банк США был учрежден Актом от 25 февраля 1791 г. и действовал на основании хартии, выданной на 20 лет.¹⁰⁸ Ни Джефферсона, ни Мэдисона это ограничение срока действия закона не обрадовало и не огорчило, потому что оба они были вообще против учреждения такого банка.¹⁰⁹ I Банк был ликвидирован по истечении определенного для него срока в 1811 г., и, что еще более показательнее, со II Банком все в точности повторилось в 1816–1836 гг.

Вероятно, Мэдисон до получения письма Джефферсона вообще не задумывался над проблемой авансов и долгов в виртуальных расчетах между поколениями. Однако, формулируя свои возражения Джефферсону, Мэдисон смог увидеть в преемственности и в пре-

¹⁰⁶ Lefebvre G. The Coming of the French Revolution. Princeton, 1947. P. 214.

¹⁰⁷ См., напр.: Война за независимость и образование США / Под ред. Г. Н. Севостьянова. М., 1976. С. 147, 274. Доля правды в таких характеристиках была, хотя в то время первая из них звучала хвалебно, вторая — осуждающе, а в наше время скорее наоборот.

¹⁰⁸ The Statutes at Large of the United States of America. Vol. I. Boston, 1853. P. 191–196.

¹⁰⁹ Мэдисон открыто выступил в Палате представителей 2.02.1791 г. (The Papers of James Madison. Vol. XIII. Charlottesville, 1981. P. 372–381). Джефферсон 15.02.1791 г. подал докладную записку президенту Дж. Вашингтону (The Papers of Thomas Jefferson. Vol. XIX. Princeton, 1974. P. 275–281).

. Сборник статей. «Россия и США: познавая друг друга. Сборник памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko»

емственной ответственности американцев разных поколений основу будущего роста экономики и могущества США. В самых деликатных выражениях он категорически отказался от каких-либо попыток внести в американское законодательство «философский дух», высказав по поводу непопулярности этого «духа» лишь платоническое, ни к чему не обязывающее сожаление.

В. Н. Плешков. Американский Икар: Томас Этолин Селфридж

*Фарман, иль Райт, иль кто б ты ни был!
Спеши! настал последний час!
Корабль исканий в гавань прибыл,
Просторы неба манят нас!*

Валерий Брюсов

18 сентября 1908 г. американские газеты сообщили о катастрофе аэроплана конструкции братьев Райт, произошедшей накануне во время испытательного полета над плацем Форта-Майер в Вирджинии. Пилотировавший аэроплан Орвилл Райт получил переломы и сотрясение мозга. Находившийся рядом с ним в качестве наблюдателя первый лейтенант армии США Томас Этолин Селфридж пострадал гораздо серьезнее, получив черепно-мозговую травму. Вечером того же дня, не приходя в сознание, он скончался в госпитале авиабазы. Селфридж оказался первым офицером американской армии, погибшим в авиакатастрофе.¹¹⁰ Неделю спустя он был погребен на Арлингтонском национальном кладбище, западные ворота которого находятся в 50 ярдах (45,7 м) от места катастрофы.¹¹¹ Гибель молодого офицера оплакивали не только в США, но и в Российской империи, вернее, во входившем в ее состав Великом княжестве Финляндском. Ведь судьба связала воедино семейство Селфриджей с российским семейством Этолиных и наглядно продемонстрировала еще одну нить взаимосвязей между США и Россией.¹¹²

Томас Этолин Селфридж родился 8 февраля 1882 г. в Сан-Франциско в семье Эдварда Селфриджа, который до ухода на покой был президентом «George W. Gibbs Company», одного из ведущих производителей стальных изделий на Западном побережье США. Он был назван в честь деда и дяди – контр-адмиралов военно-морского флота США Томаса Оливера Селфриджа-старшего (1804–1903) и Томаса Оливера Селфриджа-младшего (1836–1924), а также своих родственников в далекой Российской империи – контр-адмирала А. К. Этолина (1798–1876) и его сына капитана первого ранга А. А. Этолина (1841–1901). Юноша хотел пойти по стопам своих родственников, но в итоге поступил в Военную академию США в Вест-Пойнте. В выпуске 1903 г. он был по успеваемости 31-м среди 96 кадетов, а во главе этого списка был будущий прославленный полководец генерал армии Дуглас Макартур.¹¹³

Службу новоиспеченный второй лейтенант Т. Э. Селфридж начал в полевой артиллерии, но его влекла авиация. Прочитав в газете о том, что известный изобретатель Александр Грэхем Белл в своем летнем доме в Кейп-Бретон в канадской провинции Новая Шотландия конструирует воздушные шары с большой подъемной силой, он попросил разрешения присутствовать при полетах. Встреча с Беллом стала поворотным моментом в судьбе

¹¹⁰ <http://www.selfridge.army.mil/History.htm>.

¹¹¹ <http://www.Arlingtoncemetery.net/thomaset.htm>.

¹¹² См.: Плешков В. Н. Две династии. Этолины (Россия) и Селфриджи (США). Из истории российско-американских морских связей // Клио. 2010. № 2 (49). С. 108–115; Плешков В. Н. Два капитана: отец и сын Этолины на службе Российской империи // Россия и Финляндия в 1808–1809 годах / Под ред. Т. Вихавайнена и Е. Хейсканена. СПб., 2010. С. 266–278.

¹¹³ http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Selfridge; <http://www.selfridge.army.mil/History.htm>. Биографию Т. Э. Селфриджа см. также: Who's Who in Aviation History. 500 biographies / Ed. by W. H. Longyard. Novato (Ca.). Presidio, 1994. P. 171–172; Feeny W. D. In Their Honor. True Stories of Fliers for Whom United States Air Force Bases are named. N. Y.: Duell, Sloane and Pearce, 1963. P. 24–38. В отечественной литературе о нем имеется одно упоминание: Эгенбург Л. И. Самолету – 80 лет // США: экономика, политика, идеология. 1983. № 12. С. 53.

Селфриджа. В итоге он обратился с просьбой о переводе в Корпус связи армии США (*U. S. Signal Corps*). Это подразделение, созданное еще в годы Гражданской войны, отвечало за все виды сигнализации и связи, применявшиеся в вооруженных силах страны, начиная от голубей и воздушных шаров до телефона, телеграфа и радио. Офицеры корпуса проявляли повышенный интерес к нарождающейся авиации, и 1 августа 1907 г. в его составе был создан Воздухоплавательный дивизион (*Aeronautical Division, U. S. Signal Corps*). В его ведении оказались «все вопросы, относящиеся к военным воздушным шарам, воздушным машинам и всем подобным объектам». Дивизион стал родоначальником ВВС США.¹¹⁴ Селфридж был официально прикомандирован к группе Белла.

Экспериментами с воздухоплавательными аппаратами вместе с Беллом в то время занимались еще три человека. Известный мотогонщик и изобретатель Гленн Хаммонд Кёртис (1878–1930) получил первую в США лицензию пилота и стал знаменитым авиаконструктором. Позднее он основал «*Curtiss Aeroplane and Motor Company*», вошедшую затем в «*Curtiss-Wright Corporation*». Два выпускника Университета Торонто Джон Александр Дуглас Маккарди (1886–1961) и Фредерик Уолкер Болдуин (1882–1948) стали первыми канадскими летчиками. Последний из них прославился еще и как конструктор гидросамолетов. Группа Белла 1 октября 1907 г. образовала Воздушную экспериментальную ассоциацию (*Aerial Experiment Association*). Селфридж, получивший в том же году очередное звание первого лейтенанта, был включен в нее в качестве официального наблюдателя от правительства США и исполнял обязанности секретаря ассоциации. Эта организация, просуществовавшая до 31 марта 1909 г., внесла значительный вклад в становление американской авиации.¹¹⁵

6 декабря 1907 г. Селфридж впервые поднялся в воздух на воздушном шаре «*Sygnnet*» («Молодой лебедь») конструкции Белла. Во время длившегося 7 минут полета он поднялся на 168 футов (51 м) над озером Бра д'Ор в Новой Шотландии.¹¹⁶ Затем он сам сконструировал аэроплан «*Aerodrome Number One*», прозванный «Красным крылом» из-за цвета шелка, которым были обтянуты его крылья. 12 марта 1908 г. Ф. У. Болдуин поднял его в воздух, совершив «первый в Америке публичный полет машины тяжелее воздуха», как с гордостью писала на следующий день «*Вашингтон пост*». Аэроплан продержался в воздухе 20 секунд, пролетев 319 футов (97 м) на высоте 20 футов (6 м).¹¹⁷ Следующая модель аэроплана «*Aerodrome Number Two*» была создана уже Ф. У. Болдуином и названа соответственно «Белое крыло». 18 мая 1908 г. он взлетел на нем в первый раз, пролетев 93 ярда (85 м) на высоте 100 футов (30,48 м). Через три дня Г. Х. Кёртис пролетел уже 1017 футов (310 м). К сожалению, 23 мая аэроплан, который пилотировал А. Д. Маккарди, разбился при посадке.¹¹⁸ Встречаются, правда, утверждения, что именно на «Белом крыле» 19 мая 1908 г. Селфридж впервые поднялся в воздух, став первым офицером американской армии, совершившим полет на аэроплане.¹¹⁹

Третий аэроплан, на этот раз конструкции Г. Х. Кёртиса, был назван Беллом «*June Bug*» («Майский жук») из-за своего сходства с этим известным насекомым. 21 июня 1908 г. Г. Х. Кёртис в Хаммондспорте (Нью-Йорк) совершил на нем три успешных полета, преодо-

¹¹⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Division,_U.S._Signal_Corps.

¹¹⁵ *Simons D. and Withington T. The History of Flight from Aviation Pioneers to Space Exploration*. L.: Marks and Spenser, 2004. P. 45–46; *Chandler C. D. and Lahm F. P. How Our Army Grew Wings, Airmen and Aircraft Before 1914*. N. Y.: Ronald Press Co., 1943; *Parkin J. H. Bell and Baldwin: their Development of Aerodromes and Hydrodromes at Baddeck, Nova Scotia*. Toronto: University of Toronto Press, 1964. http://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_Experiment_Association.

¹¹⁶ http://www.firstflight.org/shrine/thomas_selfridge.htm; http://en.wikipedia.org/wiki/AEA_Sygnnet; http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Selfridge

¹¹⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/AEA_Red_Wing.

¹¹⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/AEA_White_Wing.

¹¹⁹ <http://www.selfridge.army.mil/History.htm>; http://www.firstflight.org/shrine/thomas_selfridge.htm.

лев соответственно 456 футов (139 м), 417 (127 м) и 1266 футов (386 м). 25 июня аэроплан преодолел 2175 и 3420 футов (662 и 1042 м) соответственно. Эти достижения побудили Г. Х. Кёртиса вступить в борьбу за первый приз в истории авиации. Дело в том, что в 1907 г. Американский аэроклуб (*Aero Club of America*) и журнал «*Scientific American*» учредили приз «*Scientific American Trophy*» для летчика, первым преодолевшего расстояние в один километр (3280 футов). 4 июля 1908 г., в День независимости США, Г. Х. Кёртис на глазах многочисленной публики пролетел на «Майском жуке» 1,6 км (5360 футов) за 1 минуту 40 секунд и получил приз – солидную серебряную статуэтку и 25 тыс. долл.¹²⁰ После таких успешных полетов Воздушная экспериментальная ассоциация сочла себя вправе предложить свои аэропланы правительству страны.

Параллельно с аэропланами, создававшимися участниками Воздушной экспериментальной ассоциации, в США в этом направлении уже давно активно действовали братья Уилбур и Орвилл Райт. Еще в январе 1905 г. они предложили Военному министерству приобрести свой аэроплан. Прошло, однако, три года, прежде чем повернулись колеса бюрократической машины. После вмешательства президента Т. Рузвельта Воздухоплавательный дивизион приобрел сначала дирижабль конструкции Томаса Скотта Болдуина, способный нести груз в 450 фунтов (245 кг) и развивать скорость в 20 миль в час (32 км). Дирижабль в июле 1908 г. был доставлен на базу Воздухоплавательного дивизиона в Форт-Майер (Вирджиния), и Селфридж, пройдя с двумя другими офицерами необходимую подготовку, проводил приемные испытания дирижабля, неоднократно поднимаясь на нем в воздух.¹²¹ Тогда же братья Райт подписали контракт на поставку армии США «летающей машины тяжелее воздуха». Аэроплан должен был быть двухместным, способным переносить груз в 350 фунтов (189 кг), находиться в воздухе около одного часа, развивать скорость до 40 миль в час (64 км) и приземляться без серьезных повреждений. Помимо этого, он должен был легко разбираться на части для транспортировки гужевым транспортом (*mule-drawn wagon*).¹²²

Аэроплан братьев Райт «*Flyer III*» также был доставлен в Форт-Майер. Пилотировать его должен был О. Райт. В комиссию по приемным испытаниям аэроплана были включены лейтенанты Селфридж и Фрэнк П. Лам (*Lahm*), известный полетами на воздушных шарах, в том числе в 1906 г. через Ла-Манш. Им предстояло убедиться в том, что он соответствует всем предъявляемым армией требованиям. После первого пробного полета, состоявшегося 3 сентября 1908 г., О. Райт на глазах изумленной публики один за другим бил рекорды дальности и длительности полета, демонстрируя возможности своего детища. Так, 9 сентября он провел в воздухе сначала 57 мин 31 сек., а затем более часа (62 мин 15 сек.), а 12 сентября – уже 1 час 15 мин 20 сек..¹²³ В эти же дни О. Райт поднимался в воздух со своим давним знакомым лейтенантом Ламом и одним из руководителей Корпуса связи майором Д. Сквирером.¹²⁴

Отношения с Селфриджем у О. Райта складывались не самым лучшим образом. Авиаконструктор болезненно воспринимал безмерный интерес лейтенанта к аэропланам и полетам, его стремление больше знать, опасаясь конкуренции и того, что сейчас называли бы промышленным шпионажем. «Я был бы рад, если бы Селфридж отошел в сторону, – писал он

¹²⁰ <http://www.first-to-fly.com/History/Wright%20Story/junebug.htm>; http://en.wikipedia.org/wiki/AEA_June_Bug.

¹²¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Division,_U.S._Signal_Corps; http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Selfridge.

¹²² http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Division,_U.S._Signal_Corps; <http://memory.loc.gov/ammem/wrihtml/wrihigh.html>.

¹²³ http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Division,_U.S._Signal_Corps; <http://www.selfridge.army.mil/History.htm>. The First Flight of the Wright Aeroplane at Fort Myer // *Scientific American*. 1908. Vol. 99. N II. September 12. P. 169; Зенкевич М. А. Братья Райт. М., 1933. С. 147.

¹²⁴ См.: *Lahm F. P.* Training the Airplane Pilot // *Journal of the Royal Aeronautical Society*. November 1933. Vol. 37. N 275. P. 916–941; *Whitt S. S.* Frank Lahm: Pioneer Military Aviator // *Aerospace Historian*. Winter 1972. Vol. 19. N 4. P. 172–177; *Miracles at Kitty Hawk. The Letters of Wilbur and Orville Wright* / Ed. by F. C. Kelly. N. Y.: Farrar, Straus and Young, 1951. P. 306–307.

6 сентября 1908 г. своему брату Уилбуру, занимавшемуся демонстрационными полетами во Франции. – Я ему не доверяю ни на йоту. Он страстно интересуется авиацией и подстривает частые встречи со мной за обедом и т. п., чтобы попытаться порасспрашивать меня. У него хорошее образование и ясный ум. Я знаю, что он делает много замечаний за моей спиной».¹²⁵

Селфридж в соответствии с графиком полетов должен был лететь с О. Райтом 19 сентября, но в этот день ему предстояло выехать в Сент-Джозеф (Миссури), чтобы принять участие в демонстрационном полете дирижабля. Отказаться от возможности подняться в воздух на аэроплане, пилотируемом одним из братьев Райт, было выше сил влюбленного в авиацию молодого офицера. В итоге он договорился поменяться местами со своим коллегой. 15 и 16 сентября полеты не проводились из-за сильного ветра. 17 сентября во второй половине дня ветер стих и в 17 часов 14 мин О. Райт поднял в воздух аэроплан с Селфриджем на борту. Утром О. Райт с целью сбалансировать вес пассажира и достичь планируемой скорости полета установил два новых, более длинных пропеллера. Полет проходил на глазах около 2500 зрителей на высоте 150 футов (45,7 м). Совершив четыре круга, О. Райт начал очередной круг, когда аэроплан тряхнуло, от правого пропеллера оторвалась и упала на землю часть лопасти. Машина спустилась до 75 футов (22,86 м), затем начала набирать высоту, прежде чем резко спикировать вниз. Перед падением нос аэроплана начал подниматься, и в 17 ч 18 мин аэроплан врезался в землю. К месту падения поспешили конные часовые и несколько репортеров, оказавшихся ближе всех от места катастрофы. Они вытащили пострадавших из-под обломков аэроплана. Вскоре к ним присоединились три военных хирурга, наблюдавших за полетом, сидя в открытой машине. Они занялись Селфриджем, в то время как О. Райта осматривал врач из Нью-Йорка Дж. А. Уотерс. Как показало обследование, пилот после падения был в сознании, у него был перелом левого бедра, нескольких ребер и легкое сотрясение мозга. Гораздо хуже было состояние Селфриджа. Он находился без сознания, его лицо было залито кровью, вытекавшей из глубокой раны на лбу. Через несколько минут к месту аварии прибежали санитары гарнизонного госпиталя Форта-Майер с носилками, и спустя десять минут Райт и Селфридж оказались на операционных столах. Ранения Селфриджа, как и предполагали врачи после предварительного осмотра, оказались чрезвычайно серьезными. В ходе длившейся 40 мин операции хирурги констатировали перелом основания черепа, и в 8 ч 10 мин вечера Селфридж, не приходя в сознание, скончался.¹²⁶ О. Райт провел в госпитале полтора месяца и затем вернулся к любимой работе.

18 сентября были организованы официальное расследование катастрофы, осмотр места падения и обломков аэроплана, опрос многочисленных очевидцев происшествия. В обстоятельном рапорте начальнику Корпуса связи руководивший расследованием лейтенант Лам доложил, что катастрофа произошла «вследствие случайной поломки лопасти пропеллера и последовавшей неизбежной потери управления, в результате чего машина упала на землю с высоты семьдесят пять футов», а лейтенант Селфридж «получил повреждения, приведшие его к смерти».¹²⁷ Наиболее ценными оказались показания О. Райта, которого лейтенант Лам смог опросить в госпитале только 31 октября. По словам летчика, завершая четвертый круг, он услышал за своей спиной какие-то щелчки, сразу же выключил двигатель и решил посадить аэроплан. Но возможности выполнить этот маневр немедленно у него не было из-за приближавшейся ограды Арлингтонского кладбища. Поэтому он решил завершить поворот и затем уже идти на посадку. Райт полагал, что находился на высоте около 100

¹²⁵ О. Райт – У. Райту, 6 сентября 1908 г. // *Miracles at Kitty Hawk*. P. 303.

¹²⁶ <http://www.selfridge.army.mil/history.htm>; http://en.wikipedia.org/wiki/Wright_Brothers.

¹²⁷ Текст доклада и приложенных к нему документов находится на сайте <http://www.arlingtoncemetery.net/thomaset.htm>. Копия этого официального документа была опубликована: *First United States Military Aircraft Accident, 17 September 1908: Mr. Orville Wright and Lt. Thomas E. Selfridge*. Norton: AFB (Calif.), 1958.

футов, когда обломилась часть лопасти правого пропеллера и аэроплан начал опускаться, не слушаясь ручек управления. На высоте около 40 футов машина начала быстро пикировать. Затем она вроде бы начала слушаться руля, ее нос немного поднялся, так что на землю она упала под углом около 45 градусов.¹²⁸

Катастрофа и ее последствия подробнейшим образом освещались на страницах ведущих американских газет, корреспонденты и фоторепортеры которых оказались невольными свидетелями случившегося.¹²⁹ Не обошел вниманием гибель своего автора «Бюллетень Воздушной экспериментальной ассоциации», посвятивший этому событию специальный выпуск. Отдало должное Селфриджу и одно из первых профессиональных изданий.¹³⁰ Гибель молодого, но уже хорошо известного в авиационных кругах офицера стала первым среди множества других трагических эпизодов в истории развития авиации. В США о ней вспоминали и в последующие годы, в частности в связи с пятидесятилетней годовщиной трагедии.¹³¹

Томас Этолин Селфридж был погребен на Арлингтонском национальном кладбище 25 сентября 1908 г. со всеми воинскими почестями. Над его могилой в 1909 г. был сооружен обелиск с барельефом – честь, которой не удостоивались многие генералы и старшие офицеры вооруженных сил США, погребенные на этом воинском мемориале. Памятник Т. Э. Селфриджу установлен и на территории военной академии Вест-Пойнт. В память о нем летом 1917 г. был назван аэродром (*Selfridge Field*) в Маунт-Клеменс (Мичиган), ставший в 1947 г. базой военно-воздушных сил (*Selfridge Air Force Base*), а с 1971 г. – базой военно-воздушных сил Национальной гвардии США (*Selfridge Air Force National Guard Base*).¹³² В 1965 г. имя Т. Э. Селфриджа пополнило список выдающихся американских летчиков и авиаконструкторов в Национальном авиационном зале славы (*National Aviation Hall of Fame*) в Национальном музее военно-воздушных сил США на базе ВВС Райт-Паттерсон в Дейтоне (Огайо). Практически одновременно с ним этой чести были удостоены А. Г. Белл и Г. Х. Кёртис.¹³³

Жаль, что судьба оборвала на взлете жизнь и, несомненно, блестящую будущую карьеру Т. Э. Селфриджа, названного в честь представителей этих замечательных династий. Заслуги представителей старших поколений семейств Этолиных и Селфриджей были по достоинству оценены современниками и потомками. Имя адмирала Этолина носят остров в архипелаге Александра и гора на этом острове, мыс и залив у острова Нунивак, а также пролив между этим островом и побережьем Аляски, два мыса юго-восточнее Диллинхэма, а также мыс на острове Уруп (Курильские острова).¹³⁴ Причем остров, залив и гора были названы так американцами.¹³⁵ В 1937 г. пассажирский пароход «*Matsonia*», обслуживавший

¹²⁸ <http://www.arlingtoncemetery.net/thomaset.htm>. См. также: О. Райт – У. Райту, 11 ноября 1908 г. // *Miracles at Kitty Hawk*. P. 330–333.

¹²⁹ См., например, материалы из газеты «Washington Post» за 18 сентября 1908 г.: <http://www.Arlingtoncemetery.net/thomaset.htm>, а также «The Century Magazine». 1908. Vol. 76. N 5.

¹³⁰ *Thoughts Suggested by Disaster in Which Our Secretary, Lieut. Selfridge, Met his Death* // *Bulletin of the Aerial Experiment Association*. 1908. N XIX. November 16. P. 1–34; См. также: *Curtiss G. H. Lessons of the Wright Disaster* // *Ibid*. 1908. N XX. November 23. P. 13; *Claudy C. H. Thomas E. Selfridge – An Appreciation*. // *Aeronautics*. 1909. Vol. 4. N 4. April. P. 143–144, 172.

¹³¹ См., например, иллюстрированную подборку: “The First Army Air Crash” // *Look Magazine*. 1938. Vol. 2. N 3. February 1. P. 56–57; *Ingelles D. J. The Fort Myer Incident* // *Saturday Evening Post*. September 13, 1958. Vol. 231. P. 48–49, 82–83, 86 etc.

¹³² *Larsen D. J. and Nigro L. J. Selfridge Field*. Charleston (S.C.): Arcadia Publishing Co., 2006. 128 p. <http://www.macomb.lib.mi.us/mountclemes/selfridge.htm>; http://en.wikipedia.org/wiki/Selfridge_Field.

¹³³ <http://www.arlingtoncemetery.net/thomaset.htm>; http://en.wikipedia.org/wiki/National_Aviation_Hall_of_Fame.

¹³⁴ *Orth D. J. Dictionary of Alaska Names*. Geological Survey Professional Paper 567. Washington, 1967. P. 320. *Варшавский С. Р. Увековеченная слава России. Топонимические следы Русской Америки на карте Аляски*. Магадан, 1982. С. 61; Атлас мира. Указатель географических названий / Отв. ред. А. Н. Баранов. М., 1954. С. 547.

¹³⁵ *Orth D. J. Dictionary of Alaska Names*. P. 320.

. Сборник статей. «Россия и США: познавая друг друга. Сборник памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko»

«*Matsonia Lines*», был переименован в «*Etolen*» и до 1946 г. входил в число транспортных судов армии США. В 1957 г. судно было пущено на слом.¹³⁶ Фамилия Селфридж по старинной флотской традиции была увековечена в названиях кораблей военно-морского флота США. В честь Селфриджа-старшего был назван эсминец класса «*Clemson*» (DD-320), который находился в строю до 1930 г. Позднее в состав ВМС США входил эсминец класса «*Porter*» (DD-357), получивший это имя в честь обоих Селфриджей.¹³⁷ Он подвергся нападению японской авиации в Пирл-Харборе и участвовал в сражениях Второй мировой войны.

¹³⁶ <http://en.wikipedia.org/wiki/Matsonia>.

¹³⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Selfridge.

Н. А. Цветкова. Публичная дипломатия США: от холодной войны к новой холодной войне

Примерно семьдесят лет назад в инструментарии внешней политики США появилась так называемая «публичная дипломатия». Публичной дипломатией принято считать комплекс мероприятий в области информации, культуры и образования, которые направлены на выполнение политических задач в зарубежных странах. Данный внешнеполитический инструмент называют по-разному, но официальный Вашингтон придерживается термина *публичная дипломатия (public diplomacy)*.¹³⁸ Перед публичной дипломатией США стоят следующие задачи: распространение американской политической культуры, поддержка оппозиционных движений в «недемократических государствах», улучшение имиджа США, влияние на элиту зарубежных стран. Интернет расширил возможности правительства США в сфере влияния на активных пользователей социальных сетей, которые используют Всемирную паутину для развития так называемого цифрового активизма. В силу этого публичная дипломатия США стала дополняться так называемой *цифровой дипломатией (digital diplomacy)*.

Публичная дипломатия США прошла три исторических этапа в своем развитии. Первый этап – это 1947–1989 гг., когда в период холодной войны правительство США создало механизм публичной дипломатии и посредством проб и ошибок выработало методы ее проведения в жизнь. Программы в области культуры и образования доминировали в американской публичной дипломатии, а сама она тогда чаще именовалась дипломатией в области культуры. В 1947 г. появилась первая стратегия публичной дипломатии США времен холодной войны, а в 1989 г. был принят закон о поддержке «развития демократии» в странах бывшего Восточного блока, что стало логичным завершением этапа. Второй этап – 1992–2008 гг., когда в условиях ослабления противостояния с Россией публичная дипломатия США претерпела период упадка. Но вместе с тем она стала обретать черты политизированного инструмента ввиду активного участия в политических процессах на постсоветском пространстве. 1992 г. стал первым, а 2008 г. – последним годом, когда США использовали программы публичной дипломатии для «построения демократии» в России. Третий этап начинается в 2009 г., когда распространение Интернета и социальных сетей предоставило Вашингтону новые возможности для масштабного воздействия на зарубежную аудиторию, особенно в странах Ближнего Востока. В 2009 г. появилась стратегия так называемой «цифровой дипломатии», а 2014 г. стал свидетелем резкого пересмотра механизма и инструментов публичной дипломатии в духе времен холодной войны.

Данное исследование основано на архивных и опубликованных документах правительства США. Для реконструкции развития публичной дипломатии США в период холодной войны использованы документы из фондов Госдепартамента и Агентства международного развития США, находящиеся в Национальном архиве Соединенных Штатов. Официальные и опубликованные документы Совета национальной безопасности (далее – СНБ), Белого дома, Госдепартамента, а также материалы Конгресса США, Счетной палаты и Агентства международного развития использовались для анализа публичной дипломатии в 1990–2000-е гг.

Период идеологического, экономического, политического и военного противостояния двух империй – СССР и США – называют в американской политологической литературе

¹³⁸ См.: Public Diplomacy and Public Affairs // Department of State <http://www.state.gov/r/>

золотым веком публичной дипломатии США.¹³⁹ Благодаря уникальному противостоянию коммунизма и либерализма Вашингтон сформировал стратегию, механизм и программы публичной дипломатии США, которые были призваны остановить распространение советской идеологии в мире. Документ СНБ № 4, разработанный в 1947 г., обозначил задачу осуществления программ обменов и информационной пропаганды для «развития сопротивления коммунистической агрессии среди народов, поработанных СССР».¹⁴⁰ Закон, принятый в 1948 г. Конгрессом США в области культуры, образования и информации, предусматривал финансирование всех существовавших на тот момент программ и разрешал Госдепартаменту распространять их по всему миру.¹⁴¹ Политический отчет СНБ 68/3 (1950) обозначал публичную дипломатию как средство войны против идеологий, которые противостоят американским ценностям или угрожают безопасности США.¹⁴²

Для реализации принятой стратегии в Госдепартаменте были созданы отделы по международной информации и программам обменов. Они неоднократно меняли свои названия, сливались и дробились вновь – в зависимости от результатов межведомственной борьбы. Однако масштабы публичной дипломатии достигли современного уровня, когда были созданы два других ведомства: Информационное агентство США (*U. S. Information Agency*, 1953–1999) и Агентство международного развития (*U. S. Agency for International Development*), созданное в 1961 г. и существующее по сей день. Именно Информационное агентство и его первый директор Т. Стрейберт разработали эффективную систему отбора зарубежных граждан, с которыми предполагалось вести дальнейшую работу. Было сформулировано понятие зарубежной целевой аудитории, которая включала в себя *эли́ту действующую и потенциальную*. В каждом государстве выявлялись наиболее влиятельные группы общества в сфере принятия политических решений и формировались наиболее приемлемые для них программы обучения.¹⁴³ Венцом механизма публичной дипломатии США периода холодной войны, а в особенности последующих лет, является Агентство международного развития. Оно создавалась на фоне разворачивающейся борьбы между СССР и США за развивающиеся страны в начале 1960-х г. Появление независимых государств в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке подталкивало США и СССР к расширению своего влияния во всех регионах. Подобная политика требовала мобилизации ресурсов «мягкой силы», чтобы удерживать развивающиеся страны в сфере своего влияния. Известный закон о зарубежной помощи 1961 г. консолидировал в новом агентстве такие программы публичной дипломатии, как реформирование образования в зарубежных странах, обучение военных и «развитие демократии», что подразумевало обучение политиков, создание партий и т. п.¹⁴⁴

Созданный таким образом механизм публичной дипломатии реализовал три политические задачи периода холодной войны: не позволить идеологии СССР «захватить» страны Западной Европы, ориентировать третий мир на ценности США, а также расшатать конкурирующую идеологию внутри Восточного блока. Многие американские эксперты утверждают,

¹³⁹ См., например: *Arndt R. The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century. Dulles (Va.), 2005.*

¹⁴⁰ NSC-4A. A Report on the Psychological Operations. December 9, 1947 // Documents of the NSC, 1947–1977. Third Supplement. A Microfilm Project. Washington, 1985.

¹⁴¹ US Information and Educational Act of 1948, 80th Congress, August 27, 1948 // A Decade of American Foreign Policy. Washington, 1985. P. 569–576.

¹⁴² NSC-68/3. A Report to the NSC on U. S. Objectives and Programs for National Security. December 8, 1950 // Documents of the NSC, 1947–77. A Microfilm Project. Washington, 1980.

¹⁴³ National Archives and Records Administration (*далее* – NARA). Record Group 59. Records of the Department of State. Office of Educational, Cultural Affairs. Lot 98D 252. Box 169. File “USIS/Germany Country Plan for FY 1961, 18 July, [*sic.*] 1960.”

¹⁴⁴ Разделы 105, 498 и 541: Foreign Assistance Act of 1961 // U. S. Agency for International Development (*далее* – USAID) < <http://www.usaid.gov/ads/policy/faa> >

что американской публичной дипломатии удалось полностью реализовать эти задачи.¹⁴⁵ Мы со своей стороны полагаем, что проект по «спасению» Западной Европы от влияния коммунизма можно назвать успешным. А вот борьба за влияние в странах третьего мира при помощи инструментов «мягкой силы» не всегда приносила США столь же явно успешные результаты. Масштабы советской публичной дипломатии были сравнимы с масштабами американской и приносили немалые дивиденды СССР.¹⁴⁶ Наконец, расшатывание советской идеологии внутри Восточного блока, включая СССР и страны Восточной Европы, которое осуществлялось путем оказания помощи диссидентам, всё же не имело таких размеров, чтобы видеть тут успешный проект американской публичной дипломатии.

Остановимся на некоторых особых подходах американской публичной дипломатии времен холодной войны, которые были выработаны для реализации указанных задач. Для защиты стран Западной Европы от коммунистической идеологии, которая была популярной на волне победы на фашизмом, а также успехов СССР в социальной и научной сферах, эксперты публичной дипломатии выработали следующий ее план. Первое – это объединение политической и экономической элиты Европы вокруг ценностей США, второе – развитие американской модели управления в экономике, третье – формирование слоя ориентированных на исходящие из США идеи интеллектуалов. В рамках первого направления Вашингтону удалось объединить общими идеями политиков и крупных бизнесменов США и стран Европы. В 1949 г. был создан Американский комитет объединенной Европы (*The American Committee on United Europe*), который возглавляли А. Даллес, директор ЦРУ. Комитет финансировал мероприятия и кампании, связанные с распространением идей об объединенной Европе и Атлантическом союзе в элите двух континентов, что постепенно привело к упрочению отношений между ними.¹⁴⁷

Для осуществления второй задачи программы публичной дипломатии были созданы условия для быстрого превращения европейского общества в общество потребления, в котором было ослаблено влияние идеологий левого толка. Образовательные программы плана Маршалла выполнили задачу по переобучению топ-менеджеров и лидеров профсоюзного движения в США на предмет деполитизации социальных конфликтов, а также привели к созданию специальных факультетов и высших учебных заведений в новой для европейцев области знания – администрирование в бизнесе. За годы холодной войны было открыто 175 новых вузов, специализировавшихся на подготовке специалистов в области управления, что укрепило экономические связи между США и Европой.¹⁴⁸

Третье направление публичной дипломатии – создание слоя лояльных США интеллектуалов – было осуществлено посредством создания Конгресса за свободу в области культуры (*The Congress for Cultural Freedom*), который объединил музыкантов, писателей, художников, журналистов и других деятелей культуры из всех европейских стран. Цель, которую преследовали США, заключалась в побуждении интеллектуалов Европы отойти от позиции нейтралитета в идеологической холодной войне. Этой цели способствовал журнал «*Encounter*», который пропагандировал четыре основные идеи: Европа не должна быть нейтральной в период холодной войны; Европа должна состоять в атлантическом партнерстве с США, Европа должна поддерживать НАТО и внешнюю политику США и Европа должна сочув-

¹⁴⁵ См., например: *Cull N. The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplomacy 1945–89*. Cambridge (UK), 2008.

¹⁴⁶ NARA. Record Group 286. Agency for International Development. Entry 66: USAID Mission to Afghanistan. Education Division. Box 4. File “Relationship to Russian Polytechnic. Report. US AID, Department of State, 1962.”

¹⁴⁷ International Exchange, 1968. A Report of the Bureau of Educational and Cultural Affairs, Department of State. Department of State Publication 8459. International Information and Cultural Series 99. Washington, 1968. P. 2.

¹⁴⁸ *Boel B. The European Productivity Agency and Transatlantic relations, 1953–1961*. Copenhagen, 2003. P. 9, 12, 21–22, 185–197.

ствовать движению диссидентов в странах Восточного блока.¹⁴⁹ В результате деятельности Конгресса руководство США во второй половине 1960-х г. пришло к выводу, что цель по объединению европейских интеллектуалов достигнута, и в 1967 г. Конгресс официально прекратил свое существование.

Важнейшая задача публичной дипломатии времен холодной войны заключалась в создании условий для американизации стран третьего мира. Здесь правительство США опиралось в основном на такой компонент публичной дипломатии, как реформирование системы образования и создание американских университетов за рубежом. Университеты Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии стали мишенями американских реформ. Как правило, эти реформы подразумевали изменение структуры университетов, когда вместо традиционных факультетов вводились институты, а ректоры стали называться президентами. Реформированию подлежали также учебные планы факультетов социальных наук с введением в них таких дисциплин, как американские исследования и политология. Кроме этого, правительство США особо заботилось о содержании библиотек – из них изымалась литература коммунистического направления, а литература либерального и проамериканского направления, напротив, заполняла полки.¹⁵⁰ В рамках данного направления правительство создавало также американские учебные заведения, которые полностью копировали модели школ и вузов США. За годы холодной войны США открыли более 60 американских школ и университетов в зарубежных странах.¹⁵¹ Все подобные учебные заведения «воспитывали» специалистов, способных распространить и использовать на практике американские идеи в области бизнеса, государственного управления и науки, следовали модели американского образования и распространяли ее в своем регионе; продвигали положительный имидж США.¹⁵² Однако если внимательно вчитаться в архивные документы Агентства международного развития, то можно заметить одну важную деталь: американцам далеко не всегда удавалось изменить ценности и поведение профессуры и студентов, причем это видно из примеров университетов самых разных государств, таких как Эфиопия, Никарагуа или Афганистан. Самым показательным примером является Кабульский университет, где на протяжении 1963–1973 гг. американцы создали несколько новых факультетов, ввели преподавание на английском языке, переобучили почти весь профессорско-преподавательский состав университета. Однако им так и не удалось сформировать проамериканскую массу студентов и профессуры, которые сопротивлялись американским нововведениям.¹⁵³

Еще одна задача публичной дипломатии холодной войны заключалась в развитии диссидентского движения в странах Восточного блока. Идея о том, что программы публичной дипломатии должны использоваться в качестве инструмента поддержки оппозиционных групп, впервые прозвучала в начале 1950-х гг..¹⁵⁴ Информационные программы должны быть направлены на *создание групп диссидентов*, способных подорвать влияние правящей прокоммунистической элиты и спровоцировать восстание, – так говорилось в документах СНБ.¹⁵⁵ В июне 1956 г. СНБ принял известную политическую директиву № 5607 об обменах

¹⁴⁹ См., например: *Nabokov N. D.* No Cantatas for Stalin? // *Encounter*. Vol. 1. N 1 (1953). P. 49–52; *Kristol I.* On Negative Liberalism // *Encounter*. 1954. Vol. 2. N 1. P. 2–3; *Luthy H.* Democracy and Its Discontents. France // *Encounter*. 1954. Vol. 2. N 5. P. 23–31.

¹⁵⁰ См.: *Tsvetkova N.* Failure of American and Soviet Cultural Imperialism in German Universities, 1945–1990. Leiden, 2013.

¹⁵¹ Annual Budget Submission, Office of American Schools and Hospitals Abroad, 1990 // USAID www.usaid.gov

¹⁵² The USAID Grant & Contract Process: A Basic Guide, 2013 // USAID www.usaid.gov.

¹⁵³ NARA. Record Group 286. Agency for International Development. Entry 66: USAID Mission to Afghanistan. Education Division. Box 2. File “Higher Education program for Kabul University – Afghanistan. Memorandum. US AID, 1976.”

¹⁵⁴ NSC–142. A Report to the NSC on Status of US Programs for National Security, December 31, 1952 // Minutes of Meeting of the NSC, 1947–1977. First Supplement. A Microfilm Project. Washington, 1987.

¹⁵⁵ NSC–74. A Report to the NSC by the Under Secretary of State For National Psychological Warfare. July 10, 1950 // Documents of the NSC, 1947–77. A Microfilm Project. Washington, 1980; NSC–158. Interim U. S. Psychological strategy plan.

между Западом и Востоком, в которой долгосрочные программы в области культуры и образования были обозначены как методы политического «отрыва» стран Восточной Европы от Москвы.¹⁵⁶ Однако после октябрьских событий 1956 г. в Венгрии администрация Д. Эйзенхауэра признала, что путь к либерализации восточноевропейских государств лежит через налаживание контактов с СССР.

До начала периода разрядки программы не носили масштабного характера. Потепление в советско-американских отношениях, восточная политика канцлера ФРГ В. Брандта, направленная на установление более тесных экономических и культурных контактов между странами Западной и Восточной Европы, а также подписание Хельсинкских соглашений, которые облегчали контакты между блоками и продвигали новую внешнеполитическую концепцию о защите прав человека, расширили возможности для взаимодействия между Вашингтоном и диссидентами в странах Восточной Европы и СССР. В 1970-е гг. США поддерживали такие диссидентские организации, как «Движение защиты гражданских прав», «Комитет защиты рабочих», «Летучий университет» и «Солидарность». Однако только в период президентства Р. Рейгана началась масштабная и открытая поддержка диссидентов в Восточном блоке. Знаменитая директива СНБ № 32, подготовленная профессором Гарвардского университета Р. Пайпсом, содержала тезис о планомерном подрыве политического режима в СССР и либерализации стран Восточной Европы при помощи оказания помощи таким оппозиционным движениям.¹⁵⁷ Начиная с середины 1982 г. «Солидарность» получила стабильное финансирование от правительства США для ведения пропаганды.¹⁵⁸ Рейган открыто призывал к созданию демократической инфраструктуры, свободной прессы, профсоюзов, политических партий в странах Восточной Европы. Не распространение идей, а создание вполне конкретных неправительственных организаций в странах Восточной Европы являлось сутью публичной дипломатии администрации Р. Рейгана.¹⁵⁹

К концу 1980-х г. администрации Р. Рейгана удалось мобилизовать активную часть населения Восточной Европы и вернуть его доверие к США как к державе, которая поддерживает страны этого региона во время нового восстания. А в ноябре 1989 г. Дж. Буш-старший подписал закон о поддержке демократии в государствах Восточной Европы, который создавал масштабные программы публичной дипломатии для стран этого региона. Это событие можно считать логическим завершением американской публичной дипломатии периода холодной войны.

Появление новых независимых государств на территории бывшего СССР, быстрая демократизация стран Восточной Европы, сближение США и России оказали серьезное влияние на публичную дипломатию Вашингтона. Она воспринималась американским обществом как реликт холодной войны. Информационное агентство США, Агентство международного развития и радиостанция «Голос Америки» в одно мгновение превратились в историческое прошлое, вызывая критику со стороны экспертов, конгрессменов и средств массовой информации. Эти ведомства прошли через глубокие трансформации и сокращение финансирования со стороны Конгресса. Самая острая ситуация сложилась в 1995–1996 гг., когда республиканцы, занявшие большинство мест в двух палатах Конгресса США, начали кампанию против публичной дипломатии Б. Клинтона. Они утверждали, что холодная война

June 6, 1953 // Documents of the NSC, 1947–1977. Sixth Supplement. A Microfilm Project. Washington, 1993.

¹⁵⁶ NSC–5607. East-West Exchanges. June 29, 1956 // Foreign Relations, 1955–1957. Vol. XXIV. 1989. P. 192–268.

¹⁵⁷ National Security Decision Directive 32. US National Security Strategy, May 20, 1982 // Federation of American Scientists www.fas.org

¹⁵⁸ Schweizer P. Reagan's War: The Epic Story of His Forty-Year Struggle and Final Triumph over Communism. Westminster (MD), 2003. P. 177.

¹⁵⁹ National Security Decision Directive 77. Management of Public Diplomacy Relative to National Security. January 14, 1983 // Federation of American Scientists www.fas.org

ушла в прошлое и нет необходимости финансировать программы, направленные на сдерживание уже не существующей идеологии.¹⁶⁰ Реформа, предложенная республиканцами, предусматривала сокращение программ публичной дипломатии.¹⁶¹

Радикализм республиканцев был негативно воспринят администрацией Б. Клинтона. Президент требовал не реформировать Информационное агентство и Агентство международного развития, выдвигая аргумент, что публичная дипломатия предоставляет возможность «сконструировать мир, как он представляется американцам, мир демократических обществ и открытых рынков».¹⁶² Клинтону удалось сохранить Агентство международного развития, но судьба Информационного агентства была решена. В 1999 г. оно вошло в отдел по информационным программам и международным обменам в Госдепартаменте. Кроме этого, началось сокращение программ публичной дипломатии, направленных на такие регионы, как Латинская Америка и Ближний Восток. Были почти прекращены программы вещания радиостанции «Голос Америки» в Афганистане и Пакистане, а также в странах Персидского залива.¹⁶³ Реорганизация Информационного агентства нанесла непоправимый удар по квалификационному составу экспертов и дипломатов, которые занимались разработкой, реализацией и анализом эффективности проектов публичной дипломатии. Часть бывшего состава Информационного агентства и его зарубежных представительств перешла в региональные отделы Госдепартамента, а другая часть (30 %) покинула поприще публичной дипломатии навсегда.¹⁶⁴ После событий 2001 г. правительство США признало реорганизацию публичной дипломатии одной из самых серьезных внешнеполитических ошибок.

Однако ликвидация Информационного агентства привела к расширению программ Агентства международного развития в области создания политических партий, неправительственных организаций (далее – НПО), обучения депутатов парламентов и членов правительств. В 1990–2000-е гг. подобные программы были направлены на страны постсоветского пространства, а Россия и Украина стали приоритетными государствами в публичной дипломатии США.¹⁶⁵ Все программы публичной дипломатии, которые направлялись на Россию, финансировались на основании известного *Акта в поддержку свободы*, который был принят Конгрессом США в 1992 г. Он предоставлял правительству Б. Н. Ельцина от 400 млн до 2 млрд долларов ежегодно на создание бизнес-структур, партий, независимых СМИ, реформирование университетского и школьного образования, наконец, на военное обучение и утилизацию устаревшего вооружения российской армии.¹⁶⁶

Тесное взаимодействие Агентства с правительством России предоставило ему и сотням американских организаций широкие возможности для американизации российского общества. Прежде всего были реформированы конституция и закон о выборах.¹⁶⁷ Более 120

¹⁶⁰ Departments of Commerce, Justice, and State, the Judiciary, and Related Agencies Appropriations Act, 1999. Public Law 277, 105th Congress. October 21, 1998 // The Library of Congress <http://thomas.loc.gov>

¹⁶¹ S. 908. Foreign Affairs Revitalization Act. June 09, 1995. Bills of the 104th Congress // The Library of Congress <http://thomas.loc.gov>.

¹⁶² Congressional Record. May 22, 1995. P. H5389.

¹⁶³ Radio Free Europe/Radio Liberty and Voice of America: Soft Power and the Free Flow of Information. Hearing Before the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 111 Cong., 2 Sess., July 23, 2009. Washington, 2009.

¹⁶⁴ Staff Report, 2011 // U. S. Advisory Commission on Public Diplomacy <http://www.state.gov/pdcommission/reports/index.htm>

¹⁶⁵ U. S. Government Assistance to and Cooperative Activities with Eurasia, 2003 // Department of State <http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/c10250.htm>

¹⁶⁶ Hearings on the Review of US Assistance to NIS. Committee on International Relations, House of Representatives. March 26, 1998; Dismantling of the Former USSR. Public Law 484, 102 Congress. US Code. Title 20. Chapter 68. October 23, 1992 // The Library of Congress <http://thomas.loc.gov>

¹⁶⁷ Ordeshook P., Schwartz Th. A Constitution for the Russian Federation, 1993 // USAID; The Evolution of the Electoral Process in the Russian Federation, 1992 // USAID http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABP225.pdf

программ публичной дипломатии США действовали во всех сферах российского общества — от военно-промышленного комплекса до реформирования школ. США добились двух важных результатов при помощи программ публичной дипломатии. Во-первых, была сформирована новая российская элита в области экономики и политики, а во-вторых, были созданы новые партии. Ежегодно правительство США отбирало 1600–1700 российских граждан, представляющих политическую элиту, для обучения в США. К концу 1990-х гг. 92 представителя Государственной думы и 14 членов Совета Федерации, а также 97 мэров российских городов и вице-губернаторов регионов прошли стажировку в органах исполнительной и законодательной ветвей власти США.¹⁶⁸ Самыми активными американскими организациями, которые создавали партии, являлись Национальный демократический институт, Международный республиканский институт и Национальный фонд в поддержку демократии. Они способствовали становлению и развитию таких известных партий, как «Яблоко» и «Союз правых сил». К началу 2000-х гг. все региональные представители «Союза правых сил» прошли обучение в США, именно они разработали стратегию развития этой партии.¹⁶⁹ Среди действующей элиты России найдется немало участников программ США. Например, министр образования Д. В. Ливанов, министр связи и массовых коммуникаций Н. А. Никифоров, председатель Центрального банка России Э. С. Набиуллина, глава Счетной палаты Т. А. Голикова.¹⁷⁰

Несмотря на масштабы публичной дипломатии США в России, эксперты Агентства международного развития постоянно оговаривались в своих отчетах, что работа по созданию «демократической» России достигла только минимальных результатов. Американские проекты не достигали ушей «массового потребителя политики», а провалы правительства Ельцина в экономической и социальной областях существенно подрывали имидж США в России. Американские эксперты указывали на необходимость работать с российскими гражданами напрямую, минуя правительство России.¹⁷¹

К началу 2000-х гг. правительство США выработало новый подход в публичной дипломатии в России, а именно: развитие неправительственных организаций, а не взаимодействие с правительством России. Россия занимала 6-е место среди 90 стран, на которые направлялись программы публичной дипломатии для развития демократии, уступая таким странам, как Египет или Тунис.¹⁷² Выборы и участие в них либеральных движений стали основными проектами США в 2004–2008 гг. Агентство проводило семинары для объединения НПО и существующих либеральных партий, готовило наблюдателей посредством создания такой организации, как «Голос».¹⁷³ Однако позиция российского правительства относительно вмешательства Агентства во внутренние дела России оказала существенное влияние на уменьшение числа проектов публичной дипломатии. Планы публичной дипломатии по числу партийных лидеров и лидеров НПО, которым предстояло пройти обучение, не были выполнены. Например, в 2007–2008 гг. США планировали подготовить 15 000 российских наблюдателей, а в итоге обучение прошли только 167 человек; планировалось провести обучение 1200 лидеров различных партий, а прошло обучение 900; планировалось работать с 60 политическими партиями и НПО, а в итоге только 40 организаций согласились на установление

¹⁶⁸ Hearing on the US Relations with Russia and NIS. Committee on International Relations. House of Representatives. March 12, 1997 // The Library of Congress <http://thomas.loc.gov>

¹⁶⁹ U. S. Government Assistance to and Cooperative Activities with the New Independent States of the Former Soviet Union, 2000. Washington, 2001; An Assessment of USAID Political Party Building and Related Activities in Russia, USAID/Moscow, 2000 // USAID < www.usaid.org >

¹⁷⁰ Five Alumni Appointed to Positions in New Russian Government // Department of State <https://alumni.state.gov/>

¹⁷¹ An Assessment of USAID Political Party Building.

¹⁷² Democracy Assistance. Government Accountability Office (*далее* – GAO). Report, 2009 // GAO www.gao.org.

¹⁷³ USAID Mission, Russia. Strengthening Democracy, 2006 // USAID www.usaid.org

партнерских отношений.¹⁷⁴ Многие проекты оставались нереализованными в силу затруднения их мониторинга в такой огромной стране, как Россия. В документах правительства США отмечалась низкая восприимчивость американских ценностей россиянами, что нивелировало широкую поддержку проектов. Наконец, развитие демократии на постсоветском пространстве стало для США более важным проектом, чем развитие НПО в России.

Материалы Конгресса и Агентства международного развития свидетельствуют, что перед публичной дипломатией была поставлена задача по реформированию избирательной системы постсоветских государств для создания стабильных проамериканских демократий. Вашингтон был обеспокоен желанием правительства России противодействовать распространению влияния США в СНГ, а развитие проамериканской демократии могло обеспечить полный вывод этих государств из сферы российского влияния.¹⁷⁵

В начале 2000-х г. первое место по масштабам программ публичной дипломатии стала занимать Украина.¹⁷⁶ Только в 2003–2004 гг. правительство США пригласило к участию в программах обучения более 65 000 граждан Украины, что в десять раз больше, чем в предыдущие или последующие годы. Большинство участников программ США изучали принципы партийного строительства и политической деятельности. В итоге был создан «пул» лояльных политиков и экспертов, которые сформировали базу для проведения выборов на многопартийной основе. США сумели создать солидный человеческий потенциал, ориентированный на Запад. Ежегодно правительство США проводило обучение более 2000 политических активистов и лидеров партий; более 30 депутатов Рады ежегодно направлялись в Конгресс США для изучения процедуры построения партийных коалиций; около 100 представителей правительства и СМИ стали проходить совместное обучение в США в рамках программы по изучению выборных технологий.¹⁷⁷ Для контроля за выборами США создали Комитет избирателей Украины (*the Committee of Voters of Ukraine*), целью которого является мобилизация граждан в период выборов, а Центральная избирательная комиссия Украины согласилась на обучение десятков тысяч наблюдателей совместно с Агентством.¹⁷⁸

В отличие от России США удалось создать на Украине сильные неправительственные организации. Ставка была сделана на украинскую молодежь, ориентированную на Запад. Были созданы около 200 крупных неправительственных и молодежных организаций в области партийной борьбы. Эти организации стали мобилизационным ресурсом правительства США и украинских партий для проведения возможных уличных манифестаций.¹⁷⁹ В 2004 г. эксперты Агентства международного развития заявили, что «на Украине сформировалось активное гражданское общество, которое не будет принимать никаких манипуляций в период избирательных кампаний. Качество независимых информационных ресурсов и работа НПО обеспечивают высокую общественную сознательность избирателей».¹⁸⁰ Нашумевшие президентские выборы 2004 г., которые вошли в историю как «оранжевая революция», стали основным результатом программ публичной дипломатии США, направленных на демократизацию Украины.

¹⁷⁴ Burns W. (Ambassador to Russia). Submission of the Performance Report on Fiscal Year 2007 for Russia // USAID www.usaid.org

¹⁷⁵ Foreign Assistance: International Efforts to Aid Russia's Transition Have Had Mixed Results, 2000 // GAO www.gao.org

¹⁷⁶ Funds Budgeted for U. S. Government Assistance to Eurasia, 2004 // Department of State <http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/c10250.htm>

¹⁷⁷ U. S. Government-Sponsored International Exchanges & Training Regional Report, Eurasia, 2004 // Department of State < <http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/c10250.htm> >.

¹⁷⁸ U. S. Government-Sponsored International Exchanges & Training Regional Report, Ukraine, 2002 // Department of State < <http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/c10250.htm> >

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ U. S. Assistance to Eurasia. Ukraine, 2004 // Department of State <http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/c10250.htm>

Подводя итоги развитию публичной дипломатии США в 2000-е гг., отметим, что ее роль в политических процессах на постсоветском пространстве, а также реорганизация самого института публичной дипломатии сделали этот инструмент крайне политизированным. Программы в области культуры и образования, которые играли существенную роль в период холодной войны, стали подменяться программами по созданию партий, НПО, обучению правительственных лиц и партийных лидеров в зарубежных странах.

Последние годы характеризуются несколькими новыми тенденциями в публичной дипломатии США. Атаки террористов на США в сентябре 2001 г. и развернувшиеся после этого военные американские интервенции в Афганистане и Ираке положили начало новой идеологической войне Вашингтона, теперь уже против исламского фундаментализма. Как следствие, были сформированы новая стратегия и подходы в публичной дипломатии США. Подобная перестройка публичной дипломатии происходила только в 1940–1950-е гг., когда Вашингтон выстраивал концепцию идеологической борьбы с коммунизмом. Вторым важным фактором стало превращение сети Интернет в инструмент ежедневного использования миллионами людей по всему миру. Наличие активной интернет-аудитории подтолкнуло Вашингтон к созданию совершенно нового инструмента публичной дипломатии – цифровой дипломатии, что позволило правительству США эффективнее мобилизовать зарубежную аудиторию вокруг американских ценностей и идеологии. Наконец, события последних лет – активизация России на постсоветском пространстве и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – привели власти США к убеждению в том, что начался новый виток имперской политики Москвы. Начиная с 2010 г. в документах публичной дипломатии Россия обозначается как одна из стран, которые должны подлежать сдерживанию, что повлекло за собой пересмотр значения института публичной дипломатии в духе холодной войны.¹⁸¹

Идеологический вызов со стороны исламского фундаментализма заставил американское правительство, экспертов и общество вернуться к обсуждению публичной дипломатии, которая, несмотря на ее деятельность на постсоветском пространстве, считалась забытым инструментом внешней политики. В США развернулись масштабные дискуссии, были написаны тысячи новых книг, выдвинуты новые концепции и стратегии публичной дипломатии. Подводя итог этим дискуссиям, можно отметить следующее. Во-первых, концепция «мягкой силы», выдвинутая американским политологом Дж. Наем в начале 2000-х гг., прочно вошла в политический дискурс Вашингтона. Публичная дипломатия как практический инструмент реализации «мягкой силы» или как инструмент обеспечения привлекательности экономических, политических и культурных ценностей государства, о чем, собственно, и пишет политолог, стала подменяться термином «мягкая сила». Во-вторых, обсуждение проблем публичной дипломатии охватило не только историков, политологов и международных экспертов в области изучения СМИ, политической коммуникации, избирательных технологий и маркетинга также стали выдвигать свои предложения по повышению эффективности публичной дипломатии для администраций Дж. Буша-младшего и Б. Обамы. В итоге идеи публичной дипломатии как инструмента продвижения *позитивного бренда нации* или как о методе *стратегической коммуникации* получили распространение среди деятелей Госдепартамента, Белого дома и СНБ. Многообразие всех этих дискурсивных полей в публичной дипломатии создало хаос в умах американских дипломатов и служащих Госдепартамента, которые занимались реализацией конкретных программ. Публичная дипломатия существует, но никто толком не знает, как правильно ее обозначить: публичная дипломатия, мягкая сила, стратегическая коммуникация или брендинг. До сих пор в различных документах Госдепартамента, СНБ или Конгресса используются все указанные термины, но обозна-

¹⁸¹ Public Diplomacy: Strengthening U. S. Engagement with the World, 2010 // Office of the Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs <http://www.state.gov>

чают они по сути одно и то же — использование правительством США программ в области информации, образования и культуры для решения политических задач в зарубежных странах.

Под влиянием этих дискуссий новые понятия были введены в практическую плоскость публичной дипломатии. В самой последней стратегии США по публичной дипломатии введен принцип стратегической коммуникации. Стратегическая коммуникация понимается Вашингтоном как трансляция единого сообщения, дающего объяснение действиям правительства США. Программы публичной дипломатии должны нести в себе позитивный посыл о США и молниеносно реагировать на негативную информацию о них.¹⁸² Долгосрочные цели публичной дипломатии по распространению ценностей Америки, которые традиционно реализовывались при помощи программ культуры и образования, не отрицаются, но на передний план вышла краткосрочная политическая реклама позиции или действий США по тому или иному вопросу международных отношений. Стратегия создала новый механизм реализации публичной дипломатии. Отдел стратегической коммуникации и публичной дипломатии, а также отдел стратегических антитеррористических коммуникаций в Госдепартаменте стали основными звеньями разработки программ публичной дипломатии.¹⁸³ В 2009 г. эти ведомства стали подчиняться особому отделу по публичной дипломатии в СНБ, который имеет название «Директорат глобального вовлечения» (*Directorate for Global Engagement*). В СНБ появилась новая должность — советник президента в области стратегических коммуникаций.

Регион Ближнего Востока стал местом приложения новой стратегии, направленной на сдерживание исламского фундаментализма. Более двадцати стран, расположенных в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке и в зоне Персидского залива, стали мишенями новой информационной кампании США.¹⁸⁴ Вся деятельность США сводилась к созданию новых каналов международного вещания, которые пропагандировали американские ценности. Было создано порядка десяти новых теле- и радиоканалов, которые сегодня объединены в «Ближневосточную сеть вещания». Однако, несмотря на масштабность, американские программы и ценности остаются непопулярными в странах Ближнего Востока. По мнению экспертов Конгресса США, только треть потенциальной аудитории — а это 27,5 млн человек — смотрят или слушают интерактивные каналы США и только 0,5 % всего арабского населения считают американские каналы вызывающим доверие источником новостей.¹⁸⁵

Провалы в пропаганде на страны Ближнего Востока подтолкнули Госдепартамент к поиску новых методов влияния на целевую аудиторию. В 2009–2010 гг. была выдвинута идея использования Интернета как средства для мобилизации активной и демократически настроенной массы граждан стран Ближнего Востока вокруг ценностей США. Так родилась цифровая дипломатия, или интернет-дипломатия. Ее отцом-основателем считается помощник бывшего госсекретаря Х. Клинтон — А. Росс. В Госдепартаменте были созданы новые отделы для осуществления мониторинга зарубежных социальных сетей и блогосферы (*Digital Outreach Team* и *E-Diplomacy*), а А. Росс стал автором стратегии цифровой дипломатии.¹⁸⁶ Под цифровой дипломатией стало пониматься прямое общение между правитель-

¹⁸² National Framework for Strategic Communication, 2011 // White House www.whitehouse.gov

¹⁸³ Center for Strategic Counterterrorism Communications // Department of State < <http://www.state.gov/r/csc/>>. См. также: Executive Order 13584 – Developing an Integrated Strategic Counterterrorism Communications Initiative // The White House < <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/09/executive-order-13584-developing-integrated-strategic-counterterrorism-c>>

¹⁸⁴ Middle East Partnership Initiative // Department of State www.mepi.state.gov

¹⁸⁵ The Broadcasting Board of Governors' Middle East Broadcasting Networks, Report of Inspection, 2010 // GAO www.gao.gov

¹⁸⁶ 21st Century Statecraft // U. S. Department of State <http://www.state.gov/statecraft/overview/index.htm>

ством США и конкретными зарубежными блогерами и активистами, а также быстрое реагирование служащих Госдепартамента на негативную информацию о США в зарубежном сегменте Интернета.

Сегодня цифровой дипломатией занимаются несколько десятков отделов в Госдепартаменте, Министерстве обороны и Агентстве международного развития. Они анализируют сообщения и дискуссии, протекающие во всех возможных международных и национальных социальных сетях. Специалисты отделов принимают участие в дискуссиях, регистрируясь в социальных сетях в качестве рядовых участников или модераторов дискуссий. Они пытаются разъяснить пользователям поведение США на международной арене и опровергнуть дезинформацию, распространяемую в социальных сетях противниками Америки, такими как «Талибан» и «Аль-Каида».

Если обобщить проекты, которые осуществили США в сфере цифровой дипломатии, то их можно свести к следующим направлениям: создание протестного движения в зарубежных странах; создание антицензурных компьютерных программ для диссидентов; формирование диалога между представителями правительства США и отдельными блогерами в зарубежных странах; борьба против медиаджихада в сети Интернет. Однако самым значимым проектом цифровой дипломатии остается «Арабская весна» 2010–2011 гг., когда США действительно сумели мобилизовать самую активную часть населения в странах Ближнего Востока и вывести людей на улицы посредством прямого общения. Сегодня мы можем отметить следующие методы деятельности США в социальных сетях, оказавшие влияние на мобилизацию арабского населения в этот период. Во-первых, это массовое цитирование или репосты тех пользователей социальных сетей, которые призывали к протестам. В 2010 г. США создали несколько правительственных твиттер-аккаунтов (*e-diplomacy*, *tech@state* и др.). Они информировали подписчиков о происходящих событиях в странах арабского мира, цитируя пользователей Твиттера, находящихся в эпицентре событий. Во-вторых – это официальные обращения правительства США к протестующим через социальную сеть. Например, американское правительство призывало пользователей подписываться на такие аккаунты, как новости американского правительства на арабском языке (@USAbilAraby), новости посольства США в Египте (@USEmbassyCairo), а также на аккаунт, посвященный всем революциям в странах Северной Африки и Ближнего Востока (@democracyis), и др. Подобная информация содействовала тому, что многие граждане узнавали о существовании виртуального и реального мобилизационного центра для демонстрантов.

Однако подобная деятельность Госдепартамента вызывает нарекания со стороны не только различных правительств, но и американского общества, Конгресса и экспертов в США. Многие противники цифровой дипломатии утверждают, что она сеет политический хаос и приводит к власти антиамериканские силы, а также оборачивается для США нападениями на американские посольства, закрытием таких платформ, как Твиттер или Фейсбук в некоторых странах, и даже использованием цифровой дипломатии репрессивными правительствами или террористическими группировками.¹⁸⁷ Все эти дискуссии привели к тому, что весной 2014 г. определенная часть политического истеблишмента стала выступать за пересмотр современной публичной дипломатии США, за возвращение традиционных форм публичной дипломатии периода холодной войны и за возрождение Информационного агентства США.

Другой важной причиной, которая вызвала к жизни реформаторские тенденции, стали действия России на постсоветском пространстве.¹⁸⁸ Россия снова подтолкнула конгрессме-

¹⁸⁷ Broadcasting Board Of Governors: Additional Steps Needed to Address Overlap in International Broadcasting, 2013 // GAO www.gao.gov

¹⁸⁸ S. 2499. Making Appropriations for the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs, 2015. 113th Congress, 2nd Sess., 2014 // The Library of Congress www.thomas.loc.gov

. Сборник статей. «Россия и США: познавая друг друга. Сборник памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko»

нов к серьезному пересмотру методов публичной дипломатии. В итоге был предложен законопроект, который предусматривает создание в 2015 г. нового ведомства – Агентства по международным коммуникациям (*U. S. International Communication Agency*) – по модели Информационного агентства США периода холодной войны. Это ведомство будет консолидировать все программы публичной дипломатии для выполнения одной задачи – сдерживания идеологий и ценностей нелиберального толка, как это было в период холодной войны.¹⁸⁹

Публичная дипломатия США родилась как реакция на успехи конкурирующей идеологии в лице советского коммунизма. В период своего становления в годы холодной войны различные программы в области культуры, образования и информации чаще других использовались Вашингтоном для распространения либерализма и американских ценностей в странах Западной Европы, третьего мира и Восточного блока. Исчезновение СССР изменило природу публичной дипломатии. Ее программы стали носить открыто политический характер и превратились в средство участия во внутренней жизни стран постсоветского пространства. В последние годы публичная дипломатия пережила новые изменения, связанные с попытками правительства США найти механизмы прямого влияния на зарубежных граждан. Программы стратегической коммуникации и цифровая дипломатия стали этими механизмами. Кроме этого, активная внешнеполитическая позиция России подтолкнула Вашингтон вернуться к практике публичной дипломатии периода холодной войны, которая до сих пор остается наиболее эффективной с точки зрения обеспечения национальных интересов США.

¹⁸⁹ H. R. 4490. To Enhance the Missions, Objectives, and Effectiveness of United States International Communications, and for Other Purposes, 2015. 113th Congress, 2nd Sess., 2014 // The Library of Congress www.thomas.loc.gov

История России: взгляд из Америки

Gerald Surh. Recent Studies of Antisemitism and anti-Jewish Violence in Eastern Europe, 1881–1914

Jonathan Dekel-Chen, et al., eds., *Anti-Jewish Violence. Rethinking the Pogrom in East European History* (2011).

Faith Hillis, *Children of Rus'. Right Bank Ukraine and the Invention of the Russian Nation* (2013).

John D. Klier, *Russians, Jews, & the Pogroms of 1881–1882* (2011).

Natan Meir, *Kiev: Jewish Metropolis. A History 1859–1914* (2009).

R. Nemes & D. Unowsky, *Sites of European Antisemitism in the Age of Mass politics, 1880–1918* (2014).

Yohanan Petrovsky-Shtern, *The Golden Age Shtetl. A New History of Jewish Life in East Europe* (2014).

This review article focuses on two themes in the period before 1914, anti-Jewish violence and antisemitism. The two themes and their mutual reinforcement reached their high point in the 1881–1914 period, influencing not only the most rapid and consequential transformation of the Jewish population but also the unravelling of the Russian Empire in the same period.

Anti-Jewish violence, most dramatically represented by the pogroms concentrated in 1881–2 and 1903–6, was for Russian Jews the most distinctive, dreaded, and priority-setting events of the period. Russian Jews seem almost always to have lived in liminal fear of discrimination and attack, never more so than in the period after 1881. Violence against Jews, its anticipation and aftermath are encountered in all forms of Russian and Jewish writing, fiction and non-fiction, personal and historical, journalistic and epistolary. Pogroms, their foreboding, and their memory gripped and transformed the lives of Russian Jews in late imperial Russia as no other force did or could do.

The violence mounting in that period has been associated and even identified with the intense and widespread antisemitism prevailing in Imperial Russia, among plebeians and patricians alike. The close relationship between antisemitism and anti-Jewish violence has been so obvious that it has become a historiographic code that has often short-circuited broader inquiry. While pogroms can be and have been seen as themselves instances of antisemitism, their close identification has obscured the fact that there were many persons – perhaps the majority – holding antisemitic views but opposed violence against Jews. On the other hand, many of the participants in the violence were not necessarily persuaded antisemites, but simply looters from deprived subaltern groups or passive witnesses unwilling to intervene on the victims' behalf. The ready explanation of the violence as the product almost exclusively of ethnic prejudice has relegated other circumstances contributing to the violence to secondary status. This has delayed the formation of a balanced and comprehensive view of the many circumstances and the true complexity that gave rise to violence against Jews. Fortunately, however, most of the studies considered here suggest ideas and contribute directly to getting beyond that distorting bias.

The late John Klier's detailed study of the pogroms of 1881–1882 is the fullest and most significant recent study that both inter-relates and separates the two themes.¹⁹⁰ This is a major,

¹⁹⁰ John Doyle Klier, *Russians, Jews, and the Pogroms of 1881–1882* (Cambridge: Cambridge UP, 2011).

~~exhaustively researched opus that revises many common views and beliefs about Russia's first~~ major pogrom wave and its consequences, including the role of ethnic prejudice. Eschewing descriptions of the ground-level gore, the study unveils the extensive reach and impact of the pogroms on the Tsarist government, Jewish leaders, the Jewish press, the Jewish masses, their mutual interaction, and the pogroms' influence on emigration and on Jewish organizations abroad.¹⁹¹ In contrast to the usual polarized views of Russian-Jewish relations in the early years of Alexander III's reign, Klier's study reveals a great diversity of opinions among the public, government officials, and the Jews themselves. He reveals the actual alarm in governing circles at the riots and the efforts they made to meet the demands of Jewish leaders. At the same time, he shows the disagreements among the Jewish leaders over who spoke for the entire group and how it should respond to the rioting and to prospects for the future of Jews in Russia.

An early chapter faults explanations that rely on socio-economic determinism to explain pogroms as not explaining their occurrence at certain specific times and not at others. Klier argues against the notion that they were motivated principally by religious rivalry, stressing instead that Jews were seen as "ethnic strangers" in their appearance and occupations, their eating taboos and drinking habits, their calendars and holidays, and their separate places of worship and burial. Going beyond the outdated and discredited view that the Tsarist government directly sponsored and organized pogroms, Klier nonetheless faults the government for its well-known discriminatory measures against Jews as communicating to its peasant subjects that Jews were outside the law and fair targets for abuse.¹⁹² Having established the inter-ethnic nature of anti-Jewish enmity, he finds a suggestive parallel between Russia's pogroms and Donald Horowitz's "deadly ethnic riot".¹⁹³

In keeping with that perspective, Klier deepens our understanding of pogroms by drawing attention to their *interactive* nature. In addition to Jewish resentment of gentile disrespect for Jewish customs, for instance, he also shows that Christians had their own ethnically-based grievances, calling on Jews not to trade during Church services and not work on Christian feast days. Others petitioned the government to stop Jews from calling them "drunkards, scum, and rascals".¹⁹⁴ On the other hand, he suggests greater complexity in the origins of Jewish-gentile violence: "Every pogrom where there was serious loss of life was marked either by the use of firearms by Jews or by the rumor that they were shooting into crowds... Organized Jewish defense, as occurred at Balta, was viewed by authorities and populace alike as provocative and as likely to raise the level of violence".¹⁹⁵ Such detail reveals some of the inter-subjectivity of Jewish-gentile relations, the grounds of a mutual enmity that gave rise to occasional violent overreactions, and the background to the mass hysteria that over-swept much of the Pale in 1881–2.

However, the book's central drama is not enacted on the streets between Jews and gentiles, but in the three-way interaction among the Russian government, leading representatives of Jews in the capital, and Jewish spokesmen for separate provincial Jewish communities. Beyond the anti-Jewish enmity of Interior Minister Count N. P. Ignatiev and his supporters, Klier documents and describes the efforts of other upper-level officials to meet with and hear out those representatives. He reveals the close and fruitful relationship between Tsarist dignitaries and the Jewish elite in St. Petersburg, headed by Baron Horace Gintsburg, suggesting that its successes in working with the government to advance the Jewish cause has not received the attention it deserves. The approach of Gintsburg and his Circle relied on the need for Jews to show their loyalty to Russia, the main obstacle to

¹⁹¹ In this sense it complements and goes beyond the chief English language account of the same events, which focuses on the pogroms' causes and origins: Michael Aronson, *Troubled Waters: The Origins of the 1881 Anti-Jewish Pogroms in Russia* (Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh Press, 1990).

¹⁹² Klier, *Russians, Jews, and the Pogroms of 1881–1882*, p. 86.

¹⁹³ Donald L. Horowitz, *The Deadly Ethnic Riot* (Berkeley: Univ. of California Press, 2001).

¹⁹⁴ Klier, *Russians, Jews, and the Pogroms of 1881–1882*, p. 76.

¹⁹⁵ *Ibid.*, p. 67.

which, besides Ignatiev's considerable negative influence, was the response to the pogroms that called for Jews to emigrate, voiced by community leaders in the Pale of Settlement, where Jewish vulnerability was most keenly felt.

Chapter 10, which describes the history of the Gintsburg Circle's successes and its struggle with the emigration panic, is entitled "Politics without Prophecy", a friendly swipe at Jonathan Frankel's stress on the seminal role of the Jewish intelligentsia in setting the political agenda for Russian Jewry and its vilification of the Gintsburg Circle.¹⁹⁶ Klier's study supplements the accounts of 1881–2 told by others, including Frankel, by shifting focus from the defiance of Populist and emigrationist Jews to the insider politicking of their elite leaders, embodied by the Gintsburg Circle. Klier provides "inside stories" previously not widely known, revising the usual version of the turn toward reaction in the government's policy toward Jews. And he has brought the Jews themselves into the story as active participants rather than passive recipients of an unrelenting antisemitism allegedly pervading Alexander III's regime, by describing and documenting the disagreements in their own ranks as well as the positive reception their leaders received in higher governing circles.

That being the principal contribution of Klier's study, he has not neglected other dimensions of the Russian upheaval of the early 1880s. The genuinely popular Jewish response to the pogroms is revealed not only in the panicky enthusiasm for emigration, but by the sudden surge in attendance of *selihot* (repentance prayer) ceremonies responding to the pogroms and held in numerous synagogues. Besides connecting Jewish communities with a familiar tradition, the services also discussed the politics of the pogroms and groups not normally attending synagogue, such as students, swelled attendance at the *selihot*'s. Parallel to the mixed and complex views he describes between governing circles and Jewish leaders. Klier also reveals the diversity of views within Russian society, surveying merchants, journalists, and radicals, carefully distinguishing differences among socialists, *Narodovol'tsy*, and *Chernopereidel'tsy*, while noting that, with few exceptions, the majority of Populists in the early 1880s looked favorably on the pogroms as the harbingers of peasant revolution. Klier's version of the 1881–2 pogroms, besides being a series of malevolent attacks on Jews, become a vast social and political upheaval, focused on the Jews but also revealing a broad synchronic portrait of Russian government and society moving in response to them.

In keeping with the documentation in his earlier studies¹⁹⁷ of the government's sincere efforts to assimilate Jews to the state's own order and needs, Klier distinguishes in the present book between Ignatiev's hostility and the continuing willingness to accommodate Jewish needs by other top officials, including Alexander III, who deplored the pogroms and met with Jewish representatives to discuss responses to them. Indeed, in this view, Ignatiev stands out as the revisionist and extremist,¹⁹⁸ while the personal antisemitism of many officials is shown to have been tempered by their commitment to maintaining public order and Jewish good will.

Be that as it may, the fact remains that in the end Ignatiev "and his minions" had their way in that the May Laws of 1882 (placing additional restrictions on Jewish mobility) were adopted, meetings and contacts between government and Jewish leaders notwithstanding. Although the Laws could have been even more onerous without the input of the Jewish leadership, as Klier suggests, Jewish disabilities were increased, not relaxed, and violent anti-semites took greater encouragement in the ensuing period from the government's apparent support. How and why that happened despite Ignatiev's replacement by the more accommodating Count Dmitrii Tolstoi is not entirely clear. What did Alexander III say in those meetings with Jewish leaders? How did

¹⁹⁶ *Prophecy and Politics: Socialism, Nationalism, & the Russian Jews, 1862–1917* (Cambridge: Cambridge UP, 1981). The longer time frame of Frankel's study accounts in part for regarding early Jewish socialists and proto-Zionists as prophetic. Their actual role in the early 1880s was less impressive and even contributed to the crisis. See Frankel's chapter 2.

¹⁹⁷ *Russia Gathers Her Jews: the Origins of the Jewish Question in Russia, 1772–1825* (DeKalb: Northern Illinois UP, 1986); and *Imperial Russia's Jewish Question, 1855–1881* (NY: Cambridge UP, 1995).

¹⁹⁸ Klier, *Russians, Jews, and the Pogroms of 1881–1882*, p. 327.

government bureaucrats, despite Ignatiev's departure, manage to turn the tragedy of the pogroms to the Jews' disadvantage? It's clear that "Ignatiev-ism" in governing circles outlived Ignatiev's own departure. Given the interactive nature of pogrom politics in 1881–82, was this outcome the result of over-reaction to the pogroms by the Jewish masses and their journalist spokesmen, or of the "disloyalty" of those who turned to emigration and socialism? Or was it due to the institutional strength of an anti-Jewish bias that prevailed over the reservations and mixed views of key government figures? All the questions Klier raises have not been answered, yet his study has elevated the debate by disproving myths about the pogroms that have been repeated in textbook accounts of 1881–2 events, presenting a more authentic version of what transpired in higher government circles and among Jewish leaders, obliging future studies to rise to a higher and more nuanced level.

Klier shows that in the early 1880s Jewish interests received a hearing, informal but influential, within the Russian government. Besides the Gintsburg Circle's personal contacts, an attentive, contentious, and vibrant Russian language Jewish press publicized Jewish views. Journals such as A. E. Landau's *Voskhod*, or *Sion*, edited by Lev Pinsker – an acculturated, moderate physician, trained at Moscow University – argued the Jewish cause. The extent of Jewish acceptance of and acceptance into Russian society and its institutions has normally been overlooked in numerous studies whose *leitmotif* has been the exclusion of Jews rather than their inclusion. But the question of the actual integration of Jews into Russian Imperial society has receiving increased attention recently, most notably in Ben Nathan's influential *Beyond the Pale*.¹⁹⁹ Natan Meir's 2006 *Slavic Review* article continued that trend.²⁰⁰ Meir's book-length study of Jewish Kiev has not followed through with that theme; on the contrary, it has all but argued the converse.²⁰¹ From viewing the history of Kiev's Jews as a part of the Russian mainstream, Meir has now put more stress on what set them apart.

His claim is twofold: By the late 19th Century Jews had become a dominant economic force in Kiev, when their rate of migration to the city outstripped all other groups, and when they became its largest non-Orthodox confession; and, at the same time, Meir contends, they had become a real community, despite the restrictions placed on Jewish residence, regular expulsions, and the unending enmity of the gentile majority. There is considerable truth to both claims. Under the leadership of their wealthy elite, headed by the Brodsky family, whose beet sugar fortune made possible their role as the principal donors to Jewish educational, religious, and welfare institutions, Kiev's Jews found a permanent and indispensable, albeit precarious, position in the city's social and economic life. The prominence of the Brodsky's and other wealthy Jews both embodied and symbolized the commercial dominance of Kiev's Jews, who constituted 75 % of first-guild merchants within one decade of their first legal settlement in the city.²⁰² This dominance was complemented by the receptivity of Jewish hospitals and schools to gentiles, and both facilitated relations between open-minded members of the city's Christian elite and wealthy, acculturated Jews.

Yet much of the book is inward-looking, treating the mutual relations among Jews and Jewish institutions. Kiev is little more than the stage setting for their affairs. The "Jewish Metropolis" of the title is thus an ambiguous characterization, suggesting Jewish hegemony, if not dominance, of a Slavic capital, but actually describing how the Jews constituted their own "metropolis", self-sufficient and self-sustaining within the limits mentioned above. However, for a study set in the

¹⁹⁹ *Beyond the Pale: the Jewish Encounter with Late Imperial Russia* (Berkeley: Univ. of California Press, 2002).

²⁰⁰ Meir, "Jews, Ukrainians, and Russians in Kiev: Intergroup Relations in Late Imperial Associational Life", *Slavic Review*, 65/3 (Fall 2006): 475–501.

²⁰¹ *Kiev: Jewish Metropolis. A History, 1859–1914* (Bloomington: Indiana UP, 2010).

²⁰² *Ibid.*, p. 38.

vibrant Russian and cosmopolitan center (arguably, the Empire's third city) one misses a sense of Jews moving about in that larger urban, Slavic space. Even the acculturated and wealthy elite, the Jews' most viable and influential link with the power and character of greater Kiev, is discussed principally in its relation with Jewish institutions and projects. No very concrete sense is evoked of how its members navigated their way in the alien yet attractive world of urban, modernizing Kiev. Does this represent a deliberate change of emphasis on Meir's part, or simply an oversight, perhaps based on an implied understanding that the earlier article had treated the other side of the story and needn't be repeated?

The case for the former possibility is strong. Assessing the communal nature of Kiev's Jews must, in the first instance, take into account the severity of the conditions militating against community of any kind and leading to a tendency to draw together. Meir provides plenty of evidence of the obstacle to community formation among Kiev's Jews. The only Jews legally allowed permanent residence in the city were first-guild merchants, and although other categories were granted temporary residence, the greatest number of the Jewish population were "illegals" in managing to live and even do business in Kiev without legal permission. Although that spoke to the bribability of Kievan officialdom and the resourcefulness of Jews in evading the law, legality was enforced frequently and harshly enough to make life in Kiev for most Jews an anxious and precarious experience, ever threatened with sudden expulsion. The hostility of most Russian, Polish and other Christian residents, reinforced by the known illegal status of most Jews and the open antisemitism of the city's leading newspaper, encouraged the popular belief that Jews did not enjoy or deserve the protection of the law. That erroneous belief fostered frequent lawless, violent outbursts against Jews, especially after 1881, heightening the insecurity already felt from their residential status. It made Kiev not only a "Jewish metropolis", but the capital city of antisemitism.

While all of this legal and extra-legal hostility toward Kiev's Jews surely helped to draw them together against a common and seemingly ubiquitous enemy, it also created a tension between close community ties and the urge to acculturate or assimilate to Christian, Russian culture and society. To be sure, far from all Jews had the inclination or opportunity to adopt Russian ways, let alone assimilate or convert to Orthodoxy. Yet the bustle and opportunity for Jews in Kiev, indeed, the very closeness of urban relations, did encourage and maintain a steady, growing movement toward acculturation. The very prominence of Jews in trade to and from the city and the limits placed on Jewish residence made for much coming and going, meaning that community for many was a fleeting experience. Finally, the great wealth gap among Jews further divided the community in ways that the philanthropic nurturance of the needy by the wealthy elite could not completely offset. Wealthy Jews lived in different, more exclusive parts of the city from poor traders and workers. They insured cordial relations with state authority and their social ascendance among ordinary Jews by arranging the reelection of the same Crown Rabbi, who for over three decades protected the interests and provided religious legitimacy to the acculturated elite. For these several reasons, it would seem that the only reason to raise the question of community among Kiev's Jews would be to note the anomaly that there was a community at all. Yet Kiev's "Jewish Metropolis" functioned as a community of necessity that shielded Jews from a hostile and bigoted environment and that condition also engendered stronger and more meaningful common bonds.

Faith Hillis's recent study of Kiev and Right-Bank Ukraine does not attribute any greater community cohesion to Kiev's Jews, but it does place them within the larger political and economic framework of a city that was both more cosmopolitan and more bigoted than that described by Meir.²⁰³ "Right-Bank Ukraine" comprised the pre-1914 provinces of Kiev, Podolia, and Volynia, and the book's theme is the rise and decline of the "Little Russian" idea, a nationalist ideology

²⁰³ *Children of Rus': Right-Bank Ukraine and the Invention of a Russian Nation* (Ithaca: Cornell UP, 2013).

nurtured in that region and stressing East Slavic unity and loyalty to the Russian autocracy. At first an “imagined community” that combined the East Slavs’ common origins in Kiev Rus’, Orthodox believers, and the exclusion of all non-Orthodox and non-East Slavs, the idea became, by the end of the 19th Century, an ideology of empire, embodied in a Russian nationalist political party. Although the study is not centered on Jews and their experience, Jews played a prominent part in the evolution of the Little Russian movement as active players in Kiev’s economic and political life and as an “indispensable enemy” that served to unify the often fractious Little Russia nationalists.

Jews were key players in the complex political struggle in 19th Century Kiev. Jewish commercial domination in Kiev and the Southwest served to shape the Little Russian claim to defend the Orthodox, East Slav peasant masses from their “exploiters”, Polish landlords and Jewish merchants. Little Russian intellectuals and elite spokesmen (who often had as little in common with the recently acquired peasant population of the Southwest as most Poles and Jews) drew on pre-existing class and ethnic prejudice to further their visions of national grandeur. In the process, the East Slav ideologists strengthened the appeal of their movement by amplifying the hatred and violence directed at both groups.

On the other hand, the severe and violent treatment experienced by Kiev’s Jews is traced not only to endemic antisemitism; anti-Jewish animus is shown to have been fed by a complex legal, economic, and political situation from which Jews drew benefits as well as woes and to which they were drawn in increasing numbers throughout the 19th Century. From a small number before 1859, when limited settlement was legalized, Kiev’s Jewish population rose from 13,000 in 1874 to 70,000 by around 1910, an increase in their proportion of the city’s population as well.²⁰⁴

Hillis’s study aptly supplements Meir’s with a compelling portrait of capitalist Kiev, a booming center of aggressive investment, speculation, and wealthy family dynasties, including Jewish families. This not only broadens the characterization of the city’s 19th Century history supplied by Meir and Michael Hamm²⁰⁵ but broadens our notion of the Jewish experience in the city, still best known as the site of civil war pogroms and Babi Yar. Like John Klier’s broad account of the 1881–2 pogroms, Faith Hillis’s history of the Little Russia idea makes Jews as much a part of Russia’s history as the authors of their own, *both* a part of *and* apart from Imperial Russian society.

Yohanan Petrovsky-Shtern’s *The Golden Age Shtetl* treats the same three provinces as Hillis’s study, although in a lighter, though by no means less informative and well-documented manner.²⁰⁶ Petrovsky surveys Right-Bank Ukraine from the viewpoint of ordinary Jews and Jewish pursuits in the period before Russia’s 1860s reforms, before the *Haskalah*’s greatest influence, and before the 1881 pogroms redirected Russian Jewry toward an accelerated and socially disruptive modernization. He recreates a lost world of small town Jews and their assertive and enterprising pursuits as a foil to the standing stereotype of the *shtetl* attributed to Sholem Aleichem’s *Tevye the Dairyman* (or *Fiddler on the Roof*) as a rundown, poverty-stricken place where Jews were little more – outside their private lives – than victims of the Judeophobes and a predatory Tsarist government. Petrovsky’s *shtetl*, by contrast, was a lively place, where Jews controlled their lives, defied the law, competed and fought with each other and with gentiles, alongside whom they lived. If Jews suffered from being set outside Russian law, Petrovsky shows, many of them also profited from various outlaw roles. It is a world in which Jews held their own, apologized to no one, and mocked and ridiculed gentiles as much as gentiles did Jews.

The *shtetl* portrayed here stresses Jewish activities that pushed against bourgeois Jews’ self-image as well as against the limits of the Russian law: smuggling; liquor production, marketing,

²⁰⁴ Meir, *Kiev: Jewish Metropolis*, p. 58, 108.

²⁰⁵ Michael F. Hamm, *Kiev: A Portrait, 1800–1917* (Princeton: Princeton UP, 1993).

²⁰⁶ *The Golden Age Shtetl. A New History of Jewish Life East Europe* (Princeton: Princeton UP, 2014).

~~and monopoly; counterfeiting; even verbal and physical violence against gentiles and each other.~~ The result is a kind of counter-stereotype with a tendency to essentialize Jewish life similar to that of the *shtetl* stereotype it is meant to correct. The gain, however, is a sharpening of the contrast with post-1860 Russian Jewry and a refreshing truth-telling about the reality behind some of the beliefs and practices of Jews fostered by antisemites. Negative stereotypes are transformed into signs of the vital energy and realistic adaptation to the restrictions and disabilities the government placed upon Jews. Each of the chapters on smuggling, liquor production and marketing, trade dominance, violence, etc. is copiously documented by a bewildering wealth of specific case studies drawn principally from archival sources in Ukraine, Russia, and Israel. The appeal of Petrovsky's rich and locale-specific narrative all but conceals its hyperbole, lending it a kind of poetic truth about life in the *shtetl*.

Paradoxically, the one element that remains largely un-specific is the *shtetl* itself. Petrovsky is deliberately vague about defining the focus of his study except as a settlement of Jews and gentiles ranging in size between a small village and what otherwise have usually been considered towns and cities such as Berdichev, Uman, and Zhitomir.²⁰⁷ Petrovsky's *shtetl* is in fact not a particular place at all, but a way of life in which Jewish energy and acquisitiveness expressed itself in many forms and in which a greater ease and freedom existed among the *shtetl*'s mixed ethnicities and between Jews and the government. The survival of the power of Polish landowners in the region provided an ongoing buffer against the gradual encroachment of the Russian government in taxing and controlling the Jewish population. Jewish privileges thus waned along with those of the Polish grandees, who had functioned as indolent and unwitting protectors of some Jewish rights, such as trading in liquor.

Despite the more repressive means by which the Russian government sought to control the Pale's Jews, Petrovsky contends that the Russian courts dealt with Jews more fairly and even-handedly in this period than later. The effectiveness of Petrovsky's many concrete examples in veiling the literal truth of his assertions seems most questionable in this instance. Although its overall truth relies on the assumption that Jews generally received far worse treatment under the last two Tsars, the advent of the 1864 judicial reform alone and the greater participation of Jews in the judicial system suggest the need for verification of that assumption.

In sum, Petrovsky's idealized image of the Pale's pre-reform *shtetl*, in its broader outlines, serves as a counter-image to that later drawn by Aleichem and many Yiddish writers. Its importance lies less with its literal truthfulness than its usefulness in raising questions about Russian Jewry in both halves of the 19th Century. In the first instance, it offers a "new history", an alternative to the image of the *shtetl* as a locus of victimization by documenting much of the diversity, assertiveness, and vitality of Jewish endeavors and occupations. It shows us that the Jews of the newly created Russian Pale of Settlement did not take their poverty and forced disabilities sitting down, but took advantage of the weaknesses in Tsarist governance and enforcement, the government's rivalry with resident Polish landowners, and the venality of local officials to survive and sometimes even flourish in their *shtetl* enclaves.

Petrovsky's *shtetl* image casts light on the character of the post-reform *shtetl* as well. The energy, vitality, and defiance he describes changed in character, but surely did not disappear after the reforms and after the 1881 pogroms. As the challenges to Jewish existence grew more demanding and more threatening, so did Jewish responses. The study not only modifies our understanding of life in the Jewish Pale in the earlier years of Russian rule, but also suggests greater depth and complexity to Jewish responses in the *later* period of unprecedented upheavals,

²⁰⁷ With population (in 1910) of 65,864, 37,633, and 88,431, respectively. A. I. Riabchenko, ed. & comp., *Rossiiia. Geograficheskoe opisanie rossiiskoi imperii po guberniiam i oblastiam s geograficheskimi kartami. I: Evropeiskaia Rossiia* (SPb., 1913): Iugozapadnyia gubernii, 45, 46. (Географическое описание Российской империи по губерниям и областям с географическими картами / Ред. А. Е. Рябченко. СПб., 1913. С. 45, 46).

heightened antisemitism, and Jewish victimization, both within and without the *shtetl*. Finally, Petrovsky's image of the *shtetl* may be said not to have discredited the truthfulness of the image created by Yiddish writers of the later period, but to have revealed it as marking the immense changes that had invaded and overtaken life in the Pale.

Returning to that later period and to the theme of pogroms, two recent collections of articles treat anti-Jewish violence in Russia and other parts of Europe from 1881 to the eve of the Second World War. Each of them contains a range of topics grouped around the themes of violence and antisemitism.²⁰⁸ Despite the diversity of topics and approaches, the two collections share common assumptions and may be taken to illustrate the current state of pogrom studies.

The commonest assumption they share is the interchangeability of the terms “antisemitism” and “pogrom”; one is taken to enfold and encompass the other, like two embracing figures, even though many of the articles treat antisemitism as attitude and ideology without a violent outcome. At the same time, most of the articles that treat actual violence against Jews do not question the meaning and role of antisemitism in making for the violence, but regard it as a major, if not the principal, contributor. Thus, antisemitic writings and publicism are joined to anti-Jewish violence as part of the same reality rather than being considered as separate realities, especially in regions of high illiteracy and sharp distinctions between classes and between town and country populations. Although no explicit claim is made, this assumption is what lends unity to an otherwise diverse array of articles treating locales from England to Romania and Eastern Siberia and topics ranging from the scandal and trial of an Austrian Jewess imposter to military pogroms during World War I. The assumption is imbedded in the very structure of these conference-based collections. At the same time, the very diversity of the topics they contain and their lack of connectedness in space and time has compelled them to link violence and Judeophobia with the specific, local, and contextual circumstances applicable to each case. Most of the essays cite the “usual suspects” among explanations: ethnic or religious hostility, alleged economic competition and exploitation, legal discrimination, alleged political disloyalty. And, although their explanations do not yield a single meaning for the term “pogrom”, they also frame questions that look beyond those stock considerations. These essays show that “antisemitism” and the violence often associated with it has a thousand faces, taking on a different character and meaning, depending on its local history and the circumstances of its manifestation.

The one essay that attempts a definition of “pogrom”, giving it a single face, and applying it to all times and cases turns out to be the exception that proves the rule.²⁰⁹ The definition worked out has the virtue of seeking circumstances beyond antisemitism as the causes of anti-Jewish violence. Yet it is so general as to yield only the palest explanatory potential, so broad as to be applicable not only to all anti-Jewish pogroms, but even beyond the parameters of Jewish experience, to other instances of “inter-communal violence”, as the author admits.²¹⁰ Although the impulse to seek wider and more general explanations is endemic to historical inquiry, the worth and creativity in these essays lie in demonstrating the protean nature of antisemitism, its adaptability to many forms of conflict and controversy, public and private, and the diverse, complex shapes that it has taken.

The larger methodological question this raises is the relationship between affect and action, between word and deed, between, in our context, antisemitism as ideology or attitude and pogroms. Those essays that fall in our period but outside Russia are sufficiently distinct to suggest some

²⁰⁸ *Anti-Jewish Violence. Rethinking the Pogrom in East European History*, ed. Jonathan Dekel-Chen, David Gaunt, Natan M. Meir, & Israel Bartal (Bloomington: Indiana UP, 2011). *Sites of European Antisemitism in the Age of Mass Politics, 1880–1918*, ed. Robert Nemes & Daniel Unowsky (Lebanon, NH: Univ. Press of New England; Brandeis UP, 2014). Essays in both volumes include topics that go beyond the temporal and geographic limits of this essay.

²⁰⁹ David Engel, “What’s in a Pogrom? European Jews in the Age of Violence”, *Anti-Jewish Violence*, p. 19–37.

²¹⁰ *Ibid.*, p. 35. The richness and worth of the other essays in this volume lie in the degree to which they go beyond Engel’s formal definition.

mid-level generalizations that both contrast with and illuminate the Russian situation. Let us begin with four essays treating anti-Jewish violence in Galicia, Moravia, and Croatia, all parts of the Austro-Hungarian Empire, plus Romania. In each case they occurred on a smaller scale in their numbers and destructiveness, compared to events in the Russian Pale in the same prewar decades.²¹¹ This was due in part to a more consistent opposition to anti-Jewish violence on the part of both local and central Habsburg authorities. The four studies deal predominantly with disorders among peasants, due perhaps to the relative absence of pogroms in the Empire's large cities (outside the Polish provinces), where the police exercised a firmer hold on public order. In two cases, the conflicts were not binary, affecting only Jews and the native nationalities, but involved German and/or Hungarian policies and languages. In Moravia and Croatia violence was disproportionately directed at Jews, perceived as partisans or even as agents of the hated nationalities. In Galicia and Romania, the violence was precipitated by a mixture of resentment of Jewish economic exploitation and longstanding antisemitism, reinforced by the proactive role of Catholic clergymen. All these essays present a mixture of attitudinal antisemitism and resentments at the position of Jews in social and political structures during the birthing of new nationalisms. In Moravia, for instance, Jews voted with the German parties which defended Jewish rights, earning the resentment of Czech nationalists.

Three essays on pogroms in the Russian Northwest find that the great resentment of Russian and/or Polish domination ameliorated Lithuanian and Belorussian relations with Jews in their region.²¹² These borderlands of both the Empire and the Pale, if compared to the greater violence of the southern and southwestern Pale, are distinguished by the relative absence of pogroms. In contrast to the Habsburg lands, where Jews were perceived as allied with the resented German or Hungarian overlords, here Jews were seen as allies *against* Russian and Polish domination. The article by Staliūnas and Sirutavičius explains the outburst of anti-Jewish violence during the Nazi occupation as wholly due neither to Nazi influence nor to a native antisemitism. Lithuanians lived through the Russian imperial and interwar eras in relatively peaceful coexistence with Jews, given the size of the Jewish population and the antisemitism of neighboring regions. It was mostly the trauma of Soviet occupation in 1939 and the divergence of political leanings between Lithuanians and Jews that precipitated mass anti-Jewish violence aimed at Communism considered as a Jewish enterprise.

Klaus Richter's detailed study of a small pogrom in eastern Lithuania in 1905 does not contradict those findings, but uncovers nuances that shed light on the nature of pogroms far beyond Lithuania. In exploring the causes of fires in the *shtetl* of Duseto that precipitated a pogrom after destroying several buildings owned by local peasants, Richter leaves open the possibility that Jews could have started them, as the peasants insisted, despite the findings of an official investigation that exonerated them. He does not contend that Jews started the fire, only that Jewish commercial competitors were capable of such tactics against rival peasant merchants, suggesting that the kind of aggressive self-assertion described in Petrovsky's *shtetl* study was probably still alive in *shtetl*'s of the 1905 era. The willingness of Jews in remote Duseto to assert and defend themselves is related to a second suggestive observation by the author, namely that such behavior surprised the police, who

²¹¹ Daniel Unowsky, "Local Violence, Regional Politics, and State Crisis: the 1989 Anti-Jewish Riots in Habsburg Galicia", *Sites of European Antisemitism*, p. 13–35; and in the same volume: Julia Onac, "The Brusturoasa Uprising in Romania" (79–93); Michal Frankl, "The Moravian Anti-Jewish Violence of 1899 and Its Background" (95–114); and Marija Vulesica, "'An Antisemitic Aftertaste': Anti-Jewish Violence in Habsburg Croatia", (115–134).

²¹² Klaus Richter, "Horrible Were the Avengers, but the Jews Were Horrible Too: Anti-Jewish Riots in Rural Lithuania in 1905", *Sites of European Antisemitism*, p. 199–214; Darius Staliūnas & Vladas Sirutavičius, "Was Lithuania a Pogrom-Free Zone? (1881–1940)", and Claire Le Foll, "The Missing Pogroms of Belorussia, 1881–1882: Conditions and Motives of an Absence of Violence", *Anti-Jewish Violence*, p. 144–158, 159–173, respectively.

against the backdrop of the large scale pogrom in Kishinev, the police in Lithuania grew extremely cautious, as large crowds of Lithuanian Jews gathered to mourn their Bessarabian brethren. This time, the officials feared the Jews more than the Lithuanian peasants... The police superintendent (*pristav*) of Vilnius reported on the high degree of determination among Jews to strike back against pogromists beyond the limits of their own *shtetls*. On May 25, 1903, for instance, he encountered a crowd of more than five hundred Jews who wanted to make their way to nearby Vileyka... where allegedly there had been rumors of an impending pogrom. The superintendent dispersed the crowd with the aid of mounted policemen. With such measures, the police reinforced the conviction among peasants that the tacit rules of anti-Jewish riots excluded the ability of Jewish resistance.

Richter sees Jewish self-defense as breaking an unwritten code about how pogroms were supposed to work, thereby angering the pogromists and providing them an “alibi for murder”.²¹³ Quoting a German study, he suggests that Jewish resistance broke with the “historic pattern of anti-Jewish violence [that] demanded submission, huddling in houses, a passive acceptance of the script of a ritual drama”.²¹⁴ The notion of pogroms as the enactment of a social ritual with its own rules has been mentioned by others, but has yet to receive the attention that it would seem to deserve.²¹⁵

These diverse essays on anti-Jewish violence explore important new avenues of inquiry, seconding and reinforcing John Klier’s conception of pogroms as a prism through which to examine Jewish-gentile relations in all their complexity. The result is a view of pogroms that makes them part as much of Russian (Czech, Romanian, Galician, etc.) history as of Jewish history. Antisemitism was the common coin of the violence, to be sure, but it took many forms, combining with and shaping itself to diverse other grievances and locales and performing varying functions for the non-Jewish populations involved. Like Klier’s study, the essays in the pogrom collections show Jewish-gentile relations to have been an interactive process. Klier’s embattled Jewish elites interacted with Russia’s highest governing authorities, their principal opponents. In Austria-Hungary Jews had the protection of the Habsburg authorities to a degree not possible in Russia. However, pursuing their own interests during a period of growing nationalist exclusionism, they also encountered violent opposition, though more sporadically and on a smaller scale than occurred in Russia.

All this argues against efforts to find a single definition of the causes and meaning of pogroms. At the same time, we are not left with the prospect of treating every pogrom as a unique event. These essays suggest instead that anti-Jewish violence can be most accurately understood in specific historical contexts, be they Klier’s world of relations between government policy, personnel, and Jewish leadership, or the clash of East European new nationalisms with native Jewish populations, or Frankel’s diachronic study of Russian-Jewish nationalist and socialist politics coming to birth in a failing empire beset by revolutionary oppositions. All three of these contexts were present in microcosm in Kiev, where Jewish leaders interacted with the city’s political and business elite, where Jews became political scapegoats for a rising nationalist movement, and where they responded with new political movements of their own, both moderate and radical.

²¹³ Richter, “Horrible Were the Avengers”, *Sites of European Antisemitism*, p. 204. In grouping 1903 events with those in 1905, Richter is apparently following current convention in considering the dynamics of pogroms in the Russian Empire following the Kishinev pogrom to have been linked and to have culminates in those in 1905.

²¹⁴ Ibid., p. 205–6, quoting Helmut Walser Smith, *The Continuities of German History: Nation, Religion, and Race across the Long Nineteenth Century* (Cambridge: Cambridge UP, 2008): 155.

²¹⁵ E.g., Klier, *Russians, Jews, and the Pogroms*, p. 87. See also Klier’s essay “The Pogrom Paradigm in Russian History”, *Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History*, ed. John D. Klier and Shlomo Lambroza (Cambridge: Cambridge UP, 1992): 13–38.

The studies of Meir, Hillis, and Petrovsky highlight other historical aspects of anti-Jewish violence, other differences that time and place have made in its quality and effect. Whether Kiev's Jews represented some kind of Jewish metropolis, their history of both success and trauma was clearly the product of the specific restrictions and opportunities that their unique position in Kiev presented them. By contrast, Petrovsky's study of the smaller towns and settlements in Kiev's hinterland suggests that the violence Jews suffered in those locales was tempered by greater routine and stability and a simpler rivalry with a gentile population that shared their *shtetl* residency and most of the same rural hardships. Although this did not rule out violent treatment by gentile neighbors, it was part of a social arrangement in which Jews stood on a more equal footing with them than was possible in large, impersonal places like Kiev.

Taken together, the works considered here signal a new approach to the history of Russian Jews in the late imperial period. They argue that the growing intensity of anti-Jewish violence in the 1880–1914 period was due to much more than the preachings of antisemitic ideologues and that pogrom histories need to be constructed on the basis of a more detailed and more holistic consideration of specific events.²¹⁶ They suggest greater recognition is due the fact that Jews took an active hand in providing for their own defense and well-being and, while certainly not deserving of the violence visited on them, were not wholly passive and innocent victims of hostile Slavs and Christians. They show that the origins of anti-Jewish violence should be sought in the interactive relation between Jews and gentiles, however asymmetric and dysfunctional, and not exclusively in the hostility of Judeophobic rioters, even though their prejudice, phobias and violent overreaction made them the usual, principal initiators of the violence.

²¹⁶ As Richter's article exemplifies and the comments on method of Daniel Unowsky and Hillel J. Kieval indicate (*Sites of European Antisemitism*, chapters 10, 1, and the Afterword, respectively).

Alfred J. Rieber. Social and Political Fragmentation in Imperial Russia on the Eve of the First World War²¹⁷

That the strains and trauma of the First World War contributed to the collapse of the tsarist monarchy is a truism that leaves unanswered several interrelated questions. Why did the collapse of old regime occur so suddenly in the capital and then spread so rapidly throughout the rest of the country; and why did it fail to generate any visible measure of support from its erstwhile defenders to restore it? Finally, why did Provisional Government collapse so rapidly in its turn, giving way to a complex *smuta* (civil strife) among multiple political contenders for power? This essay seeks to address these questions by examining the particular characteristics of change in the deep structures of imperial Russian society and politics in the decades leading up to 1914.

In the two centuries from Peter the Great to the First World War, the autocratic rulers and the ruling elites displayed a remarkable flexibility in responding to the foreign and domestic challenges to the security and stability of the state. In constructing a multi-cultural empire, they experimented in creative ways in attempting to assimilate newly conquered territories on the periphery of the center of their power. The great bursts of domestic reform under Catherine II, Alexander I and Alexander II were connected by a thin membrane of smaller changes and preparatory activities especially in the field of education of the social elites. Thus the process of reform was continuous, although its rhymes were irregular and the work as envisaged by the reformers often frustrated by entrenched interests. Nor did the innovations abolish existing institutions and long established practices. Instead they were accretions, increasingly weighing heavily on the body politic and social structure. Consequently, the process of state building was interrupted and incomplete to the very end of the old regime. It was due to the underdeveloped institutions of the empire and the arbitrary, centralized nature of the reforms combined with the limited resources of the autocracy to implement them that produced the effect of laying down of sedimentary strata, imposing new social and political forms on the old. At the same time, the pressures exerted by rapid economic change and the shock of military defeat in 1905 had the simultaneous and cumulative effect of intensifying fragmentation within these separate layers of society and state administration. By 1914 the social and political forces of the Empire were deeply divided and ill-prepared to withstand the trauma of modern war.

This essay seeks to explore four aspects of the layering of the archaic and the modern and the fragmentation of society and politics in the evolution of the Russian state and society as a consequence of the belated and uneven appearance in the course of Russian history of four great transformations experienced by all the major European powers during the previous century. The first of these was the industrial revolution and the formation of an integrated capitalist economy; the second was a political revolution which overturned absolutist rule in England, the Netherlands, France and much of the rest of Europe west of Prussia and the Habsburg lands by the mid nineteenth century; the third was the national state building project which culminated in the unification of the fragmented German and Italian states, the independence and fusion of Moldavia and Wallachia into a Rumanian state, the fusion of Eastern Rumelia with Bulgaria and the enlargement of Greece; the fourth was the rapid growth of urban society where intermediate social groupings, traditionally but misleadingly reified into the bourgeoisie and proletariat, challenged the political and cultural preeminence of the landed nobility.

Historians continue to debate the extent to which these transformations weakened or destroyed the institutions of the old regime throughout Europe. Arguably, every state retained

²¹⁷ This paper was originally delivered at the Conference on the First World War, Moscow, June 2014. I am grateful for the invitation and the stimulating comments by colleagues at the conference.

pockets of “feudal survivals”. Industrialization began as a regional phenomenon and penetrated slowly from urban to remote rural and mountain areas; representative institutions and responsible ministries were slow to evolve toward liberal democracies; national integration proceeded gradually even in France. The landed nobilities of Europe continued to occupy high positions in government and commanded the armies of all the major powers; their social values and cultural standards continued to serve as models for much of the rest of society down to 1914. It might be said that every European state was following its “special path” (*Sonderweg* or *особый путь*). Or contrariwise, that all of them were “normal”. But that would be to bait a deadly historiographical trap. At a certain level of analysis, every European society was “special” and by 1914 all of them contained (and often shared) similar social, political and cultural features that might characterize them as normal. Moreover, the idea of a path carries teleological implications that should be resisted. The only solution to the problem lies in comparative history. But there is insufficient space for that in this paper. All that can be done is to assert and then attempt to document that the Russian Empire participated in all these four major transformations but that the rhythm of change was sufficiently different from the other major belligerent powers to help explain why it collapsed so suddenly in the midst of the war before its armies had been decisively defeated on the battlefield unlike what happened to the German, Habsburg and Ottoman Empires. This paper argues that four phenomena defined the peculiarities of Russia’s historical experience before 1914: 1) a multiplicity of social identifications; 2) the uneven and belated development of Russian capitalism; 3) the fragmentation and particularism of the big social aggregations; and 4) the fragmentation of politics.

The Multiplicity of Social Identifications

Ever since the reign of Peter I (“the Great”) the tsar and the ruler and his/her closest advisers had sought unsuccessfully to impose order from above on the variety of social identifications inherited from Muscovite Russia. Peter’s introduction of service ranking, Catherine’s attempt to create an intermediate urban class, Nicholas I belated codification of the *soslovie* system, the steps toward a common citizenship advanced by the reformers under Alexander II and again after the revolution of 1905 were, at best, only partial successes. From below people resisted or, as the large “floating” population testified, evaded the categories invented or imposed from above. Moreover, agents of autocracy often failed to implement or openly contradicted imperial legislation aimed at fixing the social order. Within the population there was abundant evidence of an insufficient awareness of one’s assigned place in society, a lack of self-consciously belonging to a group that was externally defined by its socio-economic condition (as a class) or its ethno-linguistic characteristics (as a nationality).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.